

КОНСТРУИРОВАНИЕ КАТЕГОРИЙ И ИДЕНТИЧНОСТЕЙ

Историография и социально-культурная антропология немислимы без использования данных переписей населения в исследовательских целях. Особый интерес к этому источнику информации и к этой важнейшей общественной процедуре в истории современных государств возник в последние десятилетия. Это было обусловлено рядом обстоятельств. Во-первых, в XX в. проведение всеобщих переписей населения стало обычным для большинства развитых стран (национальные переписи проводят около 100 государств), и их данные – это важнейший источник сведений о состоянии общества, а также источник для обобщения и сравнения мировых процессов и тенденций. Во-вторых, без данных переписей не могли бы полноценно функционировать целый ряд обществоведческих дисциплин (демография, социология, политология, этнология), не говоря уже об использовании этих данных в общественных целях, начиная от избирательных процедур до образовательной и социальной политики. В-третьих, внедрение новейших технологий и исследовательских методов в обществоведческий анализ позволили совершать чудеса с огромными массивами количественных данных, которые до этого были трудно доступны обычному ручному анализу. Наконец, эти же технологии, а также рост образования и общественной активности людей позволяют гораздо более эффективно использовать переписные процедуры не только для управления сверху, но и для низовых общественных мобилизаций и низовой самоорганизации.

С появлением компьютерной технологии в истории сотрудничества обществоведов США и СССР был период плодотворной совместной работы в области использования количественных методов исторического анализа. Эта работа осуществлялась на протяжении 1970 – начала 1980-х годов в рамках двусторонней комиссии, которую возглавлял от Отделения истории АН СССР академик И.Д. Ковальченко и от США профессор Принстонского университета Теодор Рэбб. Именно тогда были установлены личные контакты со многими известными американскими историками, включая будущего лауреата Нобелевской премии про-

фессора Роберта Фогеля, Стенли Энгерманна, Ричарда Сатча и других. Были проведены совместные симпозиумы в США (Принстон и Балтимор) и в СССР (Москва и Таллин), вышла серия публикаций на русском языке¹. Именно тогда в орбиту этих мероприятий были вовлечены многие отечественные историки, бывшие уже известными эстонский академик Ю.Ю. Кахк, В.З. Дробижев, Ю.В. Арутюнян и ставшие известными позже Б.Н. Миرونнов, Л.И. Бородкин, Е.И. Пивовар, Н.А. Селунская, В.К. Соколов, Ю.П. Бокарев.

Во всех этих проектах в основе разрабатываемых методологий лежало использование массовых источников, прежде всего данных переписей. Но тогда мало кто обсуждал сам вопрос *антропологии переписи*, ограничиваясь проблемами верификации, представительности, точности исполнения опроса, последующих манипуляций и, конечно, проблемами кодирования данных для компьютерной обработки. Впечатляющим для тех лет выглядел, например, так называемый филладельфийский проект Теодора Хершберга, суть которого заключалась в реконструкции историко-демографического портрета г. Филадельфии (вплоть до жителей отдельных улиц) на основе данных переписей населения США середины XIX в.² В России наиболее значимыми были исследования на основе данных переписи 1897 г.³

Наконец, когда уже компьютеры и обработка данных с новыми огромными возможностями стали рутиной в научном труде историка, интерес к материалам переписей населения никак не ослаб, ибо он наполнился новым содержанием, включая более тонкое и рефлексивное обращение к количественным параметрам исторического материала. Но только в последнее время встал вопрос не менее фундаментального значения – это *проблема политики переписей населения и трактовка переписных материалов не только в плане отражения реальности, но и как средство конструирования этой реальности и как форма интеллектуальных предписаний для массового потребителя и для общества в целом*.

Особенно важным является аспект, связанный с выделением категорий переписного населения, формулировкой вопросов, обработкой последующих данных, их научной и политической трактовками. Одним из существенных является вопрос: как переписи населения связаны с процессом формирования идентичности (прежде всего национальной, этнической и расовой), с существующими в том или ином обществе властью и идеологией, наконец, с самой борьбой за власть и за ресурсы. В нашем анализе мы отталкиваемся от тезиса Мишеля Фуко, который связывал становление современного государства с его прогрессивно возрастаю-

щей способностью контролировать собственное население (от образования до тюрем). К этой же категории властного контроля принадлежит и механизм переписей населения, о чем впервые наиболее определенно было показано Бенедиктом Андерсоном на историческом материале стран Латинской Америки в период становления их самостоятельной государственности⁴.

Данные переписи представляют собой властный капитал, ибо знание о населении позволяет находящимся у власти лучше знать социальные условия, культурные и другие параметры управляемых, выработать наиболее адекватные решения проблем и эффективно управлять. Или же, если управляемые в этом заинтересованы, осуществлять на основе данных переписи массовые манипуляции и силовые проекты, которые не могут быть отнесены к категории эффективного управления, но которые столь же реальны в общественной практике. В ряде аспектов всеобщая перепись является привилегированным источником знания по кардинальным вопросам общественного бытия (численность, распределение, состав и движение населения, состояние семьи и образования, занятость и занятия и прочее). Как правило, текущие данные в этих областях не могут конкурировать с данными всеобщих переписей. Переписи имели и имеют большое значение для многих международных процедур и для глобальных измерений. Здесь их данные зачастую используются в геополитических соперничествах, в выстраивании иерархии государств, особенно по линии бедные–богатые, в осуществлении международных программ развития и т.п. В последние годы под эгидой ООН родилось целое направление деятельности по координации проведения переписей и межгосударственной статистике, которое осуществляет Статистический отдел Департамента экономических и социальных проблем этой организации.

Проведение переписей, ожидание и трактовка их результатов почти всегда политически нагружены. Особенно это ощущается в государствах, где происходят быстрые и глубокие трансформации или имеются внутренняя напряженность и конфликт, связанные с теми или иными различиями в составе населения. Политико-идеологический смысл национальным переписям склонны придавать и зарубежные эксперты в отношении переписей в других странах. Журналист американской газеты “Уолд-стрит джорнел”, бравший у меня интервью накануне последней переписи, пришел в экстатическое возбуждение, когда я упомянул о возможности появления в России примерно двух десятков новых этнических общностей в итоге происходящей переписи: “Значит до этого их скрывали! Как это интересно!” Только мое замечание,

что перепись 2000 г. в США также “открыла” два десятка “новых рас” и еще больше новых этнических групп, заставило журналиста снизить свой настрой на политическую сенсационность в интерпретации российской переписи.

Используя исторические данные, межгосударственные сравнения, а также опыт советских и первой российской переписи населения в 2002 г., мы намерены рассмотреть *перепись как социально-культурное явление и процедуру переписи как политическую процессуальность*. Насколько нам известно, в таком плане данная проблема применительно к российским переписям еще не рассматривалась, за исключением работ С.В. Соколовского, Ж. Кадьо и Ф. Хирш⁵. Американские ученые Д. Арель и Д. Кертцер подготовили интересную коллективную монографию о мировом опыте отражения расы, этничности и языка в национальных переписях⁶. Последняя работа приглашает к исследованию аналогичных проблем в постсоветских государствах. Польза от такого анализа может быть не только для исследователей, но и для государственных органов – основных исполнителей переписей населения.

К сожалению, отечественные обществоведы, хотя и являются активными пользователями переписных данных и даже участниками самой процедуры (например, регулярное составление Институтом этнологии и антропологии РАН списков возможных этнических самоназваний, народов и языков для разработки материалов переписей), в силу методологической догмы воспринимали и продолжают воспринимать переписи прежде всего и исключительно как наиболее полное и всеохватное откровение по поводу существующей реальности. “Вот будет скоро перепись населения, и тогда мы точно узнаем, сколько существует этносов в России”, – заявил В.И. Козлов на совместном заседании Ученого совета Института этнологии и антропологии РАН и Комитета по межнациональным отношениям Государственной думы РФ 22 декабря 2001 г. Единственной его претензией было то, что в Конституции Российской Федерации “ничего про этносы не написано и поэтому изначально в стране все устроено не так”. Это восприятие не отличается от восприятия политиков. Выступавший 29 апреля 2002 г. перед участниками специального совещания по переписи Президент В.В. Путин выразил суть этого восприятия: “Перепись даст нам самый полный и самый подробный слепок с российского общества”. Председатель Госкомстата России В.Л. Соколин заявил в своем докладе, что “перепись населения – это перепись ее народов”⁷.

В лучшем случае российским специалистам проблема видится в том, чтобы найти наиболее оптимальный вариант организа-

ции переписи. Особенно если речь идет о фиксации так называемого национального состава и языковой ситуации в стране. Так, например, дискуссии в эпоху горбачевской либерализации по вопросу о переписи сводились к главной дилемме: нужно определять заранее список народов или зафиксировать все возможные самоназвания по вопросу о национальной принадлежности и тогда получить действительно подлинную картину, сколько народов живет в России⁸. Некоторые исследователи полагали, что главное – это получить в ходе переписи и обработать в максимальной полноте открытый список этнонимов, которые составляют ключ к этническому самосознанию как основному показателю этнической общности. Как считал М.В. Крюков, выявленный в ходе переписи список этнонимов необходимо “скорректировать лексико-статистическим анализом и результатами изучения эндогамных барьеров, разделяющих этносы”, что позволит “подойти к созданию научно-обоснованной таксономической классификации народов СССР, которая может быть впоследствии использована в качестве основы для суждений о характере и тенденциях этнических процессов”⁹. Дальше этой неизбывной мечты найти ответ на вопрос: “Сколько народов живет в России?” рассуждения специалистов так и не пошли. С этого же исходного пункта стартовала и методология первой постсоветской переписи.

Однако прежде чем перейти к анализу антропологического смысла (именно смысла, а не данных) переписей населения, отметим в целом феномен политики цифр, включая политику переписей. Не случайно данный сюжет в дисциплинарном плане относится мною не к демографии, социологии или статистике, а к социально-культурной антропологии или к исторической антропологии.

ПЕРЕПИСЬ И ГОСУДАРСТВО

Категоризация населения государств по принципу личностной идентификации на основе культурных маркеров (раса, этническая группа, язык, религия) имеет уже более чем двухвековую историю. Сегодня найдется немного государств, которые не проводили бы регулярные переписи населения. Причем чаще всего причина отказа от данной процедуры кроется не в слабости государственного аппарата или в нехватке средств, а в угрозах, которые может заключать в себе сама по себе процедура деления населения страны по различным маркерам коллективной идентичности.

Существующий исторический опыт крайне противоречив и чрезвычайно разнообразен. Ставшая рутинной и стандартизированной процедура переписи во многих странах имеет много схожих черт, но и не меньше различий, а вместе с этим и социально-политических последствий. Пожалуй, особенно разительно отличается известный нам опыт американских и советских переписей, который заслуживает сравнительного изучения. Вообще проблема статистики и государства слабо рассматривалась в контексте политической антропологии, в том числе и при изучении *этнографии государства*, которая остается *terra incognita* (пост)советского обществознания. Сразу же отметим одну из наших общеметодологических посылок, что без категоризации населения, т.е. без официальной процедуры *сертификации* коллективных идентичностей и тем самым без придания легитимности населению в рамках определенного политического образования не состоялось бы и государство, а также не смогла бы действовать и вся система международных отношений. Вместе с тем без более чувствительного и рефлексивного отношения к процедуре переписи населения можно упустить важнейшие моменты, которые происходят как в самом обществе, так и в научно-теоретических взглядах на то, что есть общество и государство и как осуществлять управление в современных условиях. Приведу лишь два примера значимости теоретической постановки данной проблемы для поведения государства в отношении переписи и для эффективности или разрушительности результатов переписи с точки зрения общественного управления.

Первый пример из опыта переписей в США. Еще два десятилетия тому назад американские антропологи инициировали в мировой науке пересмотр категории *раса* не как биологической, а как прежде всего социальной категории. На этот счет была даже принята резолюция ЮНЕСКО. В последние годы позиция большинства североамериканских ученых стала еще более радикальной: *раса* рассматривается не более чем культурный (идеологический) конструкт, который не подкрепляется никакими физиологическими, генетическими и социальными факторами¹⁰. Однако все попытки воздействовать на Бюро переписей США и устранить данную категорию из вопросника американской переписи пока закончились неудачей. Ибо слишком много политики, денег и бытовых эмоций, включая элементарный расизм, продолжают быть связанными с данной категорией. Максимум чего удалось добиться, это позволить в переписи США 2000 г. фиксацию множественной расовой принадлежности и расширения номенклатуры расовых категорий. В то же самое время более

удачными оказались давние лоббистские усилия представителей ученого мира и общественности по признанию в качестве самостоятельной категории латиноамериканского населения США: испано-американцев (“Spanish Americans” или просто “Hispanic”). Специальная комиссия по проблеме населения испанского происхождения, действовавшая при Бюро переписей США, добилась включения данной категории в программу, начиная с переписи 1980 г.¹¹ В целом следует признать, что более гибкая процедура при категоризации населения США в ходе переписей, особенно прорывное введение в 1980 г. категории так называемых *дихайфинеитид америкэнс* (пишущихся через дефис), помогли ослаблению этнорасовой напряженности в стране и укреплению общегражданской лояльности старых и новых иммигрантов¹².

В итоге в США легитимно оформилась со всеми необходимыми “объективными” параметрами (численность, расселение, половозрастной состав, образовательный и социальный статусы и т.д.) многомиллионная группа, которая до этого была лишь угадываемой частью американцев, говоривших на испанском языке и имеющих испанские имена и фамилии. Так было, по крайней мере, для внешних обозревателей Америки. Спустя двадцать лет ситуация изменилась. Ее самое разительное проявление – это приветственные двуязычные (на английском и испанском) надписи в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди и зазвучавшая на улицах и в университетских коридорах испанская речь, которой пользуются более 20 млн жителей страны.

Сторонники эссенциалистского (реалистского) подхода воспримут данную ситуацию не более как отражение переписью существовавшей этнической реальности в виде испано-американцев (как “этноса”, “субэтноса”, “этнографической группы” или “переходной группы” в зависимости от языкового жонглирования терминами), среди которых произошел некий “этнический процесс” или “возрождение национального самосознания”, что нашло реальное отражение в переписи. Однако дело обстоит сложнее: не будь переписи и дебатов по поводу особой переписной категории, а затем полученных статистических данных, то не состоялась бы и сегодняшняя общность под названием “хиспаник”. Старожильческое испано-американское население США (не следует забывать, что территория страны к югу от Рио-Гранде, включая такие штаты, как Техас и Калифорния, была фактически аннексирована у Мексики только в середине XIX в.), конечно же, существовало до и помимо переписей населения, как

существует многочисленная более современная миграция в США из Мексики и других стран Латинской Америки. Но насколько я могу судить по собственным наблюдениям американского общества в последние четверть века, это было именно население, но не осознаваемая общность или даже особая группа населения со своим отличительным названием, которое существовало только на уровне уничижительных кличек типа “мексов” – ими могли назвать и живущего в Техасе американца с вековыми семейными корнями, уходящими в испанское колониальное правление, и недавнего мексиканского мигранта, временно работающего на плантациях Калифорнии. Да и то, даже клички разнились в зависимости от их субъектов и ареалов распространения.

Именно перепись сделала испано-американцев единой категорией, причем не очень понятно какой по своему смыслу категорией – расовой, этнической или вообще без обозначения: “хиспаник” – и на этом конец. Более точными словами, именно в результате переписи произошло конструирование группы по самоидентификации, которая основана больше на языковой (никак не этнической!) отличительности. Почему не этнической, если этничность понимать в более строгом смысле, а не как любую культурную отличительность? Потому что между испаноязычным (чаще – двуязычным или просто с испанской фамилией) американцем-техасцем, кубинским иммигрантом во Флориде и бывшим нелегальным “мокроспиночником” – мексиканцем из Калифорнии этнокультурная дистанция огромна, и сами себя они не воспринимают как единую группу. Единой группой их делают прежде всего переписные таблицы! А уже потом следует их интерпретация и трансляция этих интерпретаций на массовый уровень и их воплощение в строчки бюджетов страны и штатов, а также в правовые тексты. Каким образом эта и сходная переписная инженерия скажется на развитии американского государства, пока судить рано, ибо необходима определенная историческая дистанция, но некоторые проблемы и парадоксы будут отмечены ниже.

Второй пример тесного взаимодействия существующей научной парадигмы, идеологии и государственной политики связан с опытом первой советской 1926 г. и первой постсоветской переписи 2002 г. в России: в первом случае – с введением принципа этнической национальности (“народности”) в категоризацию населения и выработкой этнографами в этой связи списка наций, народностей и родо-племенных групп; во втором – с моими собственными попытками внести некоторые изменения в практику отечественных переписей населения после распада СССР и образования Российской Федерации. Поясню, о чем идет речь.

Многими специалистами перепись населения 1926 г. считается как “самая научная” прежде всего за то, что она зафиксировала самый длинный (не употребляю более содержательное слово “полный”) список национальностей¹³. Так, например, Е.А. Семёнова, исследовавшая вопрос об этнической информации в материалах переписей населения, считает, что перепись 1926 г. “по уровню научного профессионализма организаторов и разработчиков переписи, по уровню подготовки ее инструментария, по глубине анализа этнической ситуации в стране, по качеству публикации полученных материалов в советской истории осталась непревзойденной”¹⁴. Аналогичной точки зрения придерживаются фактически все российские этнологи. Для меня же в такой оценке содержится определенная проблема, ибо 56 опубликованных томов этой переписи составляют не только “уникальное издание с колоссальным объемом информации”¹⁵, но и уникальный памятник, а точнее – фундамент грандиозной общественной утопии: построить “социалистические нации” из этнокультурного многообразия, которым отличалось население исторического российского государства. Именно с переписи населения 1926 г. началась групповая категоризация населения по эксклюзивному этническому признаку и была затверждена этнонациональность как всеобщий атрибут личности¹⁶. Фундаментальную ущербность большой теории не смогли компенсировать ни энтузиазм профессиональных этнографов, ни открытость организаторов переписи, ни скрупулезность ее публикаторов. Более того, романтическая и одновременно идеологизированная вовлеченность этнографов в определение через перепись советских наций и народностей и в процесс “национально-государственного строительства” оказали противоречивое воздействие на общество и на саму науку.

После тоталитарных и идеологизированных манипуляций с советскими переписями после 1926 г. перепись 2002 г. многими мыслилась как возврат к некоей научной норме и как восстановление справедливости, в частности признание “непризнанных этносов”. Смена политики отрицания в пользу политики признания этнокультурного разнообразия населения действительно является ключевой в сфере обеспечения эффективного управления на демократической основе. Отрицание в разных его формах (от прямого запрета на упоминание тех или иных групп до перезаписывания одних в другие) было распространено в советское время. Но принципиально, с точки зрения процедуры, а не ее последствий, это ничем не отличалось от оформления “советских наций и народностей”, осуществленных во время переписи 1926 г. В том и в другом случаях имело место косвенное насилие

или внешнее предписание, но политические результаты были противоположными: после 1926 г. всячески спонсировалось “преодоление национального неравноправия” и “национальное развитие”, а также политика коренизации, а в последующие десятилетия отрицанием оформлялись депортации, утверждение статуса титульных наций в союзных республиках, ассимиляция и гомогенизация. Не произошло по этой части радикального изменения и в отношении фиксации этнических категорий в переписи 2002 г.

Закончилась неудачей моя попытка ввести категорию смешанной этнической идентификации, которая позволила бы фиксировать как “горизонтальную” двойную или множественную этническую лояльность (по родителям и среде проживания), так и “вертикальную” множественную идентичность от малых до более крупных сообществ, принадлежность к которым может ощущать один и тот же индивид одновременно или в разных ситуациях¹⁷. Научно-экспертное сообщество, включая Ученый совет Института этнологии и антропологии РАН, и специалисты Госкомстата России не поддержали данную новацию. Госкомстат России остался сторонником формирования официального “списка народов России” и даже подготовил собственные списки национальностей и языков. После критики этого списка был объявлен тендер на составление инструментария переписи по вопросам национальности и языка – до этого исключительная прерогатива Института этнографии. И на этот раз по результатам тендера институт (точнее, рабочая группа в составе П.И. Пучкова, З.П. Соколовой, С.В. Соколовского и меня) получили возможность составить такие списки.

После дебатов на Ученом совете ИЭА РАН¹⁸ институт не смог предложить и отстоять какую-либо единую и более модернизированную позицию, избрав путь тривиального расширения так называемого списка основных национальностей за счет включения названий этнических групп, культурная отличительность которых официально не признавалась (например, группа малых андо-цезских народов Дагестана, включавшаяся в состав аварцев) или она была реанимирована из историко-этнографического материала энтузиастами открытия “новых этносов” и этническими активистами (например, *алюторцы* или *сойоты*). Впервые был также предложен принцип указания “групп” и “подгрупп” (на языке доминирующей теории, “этноса” и “суб-этноса”).

Мышление в категориях группизма, а не в категориях сложного самосознания, а также представление об этнической общности как о фундаментальном и трудноменяющемся образовании в

конечном итоге столкнулись с труднопреодолимыми методологическими и политическими проблемами. Прежде всего аномальными стали восприниматься изменения советского периода, как, например, исчезновение алжурцев, сойотов и десятков других миноритарных идентичностей, аваризация андо-цезских народов Дагестана, алтаизация южносибирских тюрков или татаризация кряшен. Моими коллегами единственно правильным считается возврат к норме 1926 г., когда многие из этих групповых идентификаций были зафиксированы. Но нынешняя ситуация оказалась гораздо более сложной и ее нельзя свести к одному варианту. Часть андо-цезских народов считает себя аварцами, часть продолжает сохранять идентичность андийцев, ахвахцев, ботлихцев, дидойцев и т.д. Как показывают мои собственные наблюдения, наиболее приемлемой для большинства этой части населения Дагестана была бы возможность считать себя как аварцами, так и андийцами, арчинцами или другими, но не в качестве “подгрупп аварцев”. Более мобилизованные местными активистами дидойцы, возможно, в большинстве своем предпочтут указать себя исключительно как дидойцы. Неоднозначная ситуация и с кряшенами: часть из них, особенно в Татарстане, предпочла бы двойную принадлежность, часть, особенно за пределами Татарстана, не желает иметь татарскость в своем обозначении. И все же из этой ситуации возможно было найти оптимальный и наименее компромиссный для науки и политики выход.

Однако методологический подход “группа-подгруппа” или “этнос-субэтнос” (будучи сам по себе новацией, но новацией недостаточной и половинчатой) даже не предполагает самой возможности двойной идентификации. Естественно, не предполагает этого и российская перепись, ибо “национальность у человека может быть только одна”. В итоге именно расширение списка, т.е. перечисление в списке народов двух-трех десятков до этого не выделявшихся этнических идентификаций, вызвало политическую напряженность в ходе подготовки переписи 2002 г., а среди экспертов и статистиков возникли споры и определенная сумятица.

Следует отметить, что в научных дебатах на тему “перепись и государство” нами замечена абсолютизация самой субстанции “государство”. В определенном смысле государство является абстракцией, и в любом случае – это соединение разного уровня компетенции и полномочий конкретных людей на государственной службе. В вопросе переписи государство не выступает в виде моногласного воленавязывателя, как это может быть в вопросах права или военных решений. Здесь имеет место столкновение многих интересов и представлений, действует фактор инерции и

компетенции бюрократии и наличия ресурсов, современные политические озабоченности, не говоря уже об огромной массе разнонаправленных движений и действий в процедуре общенационального масштаба, в исполнение которой вовлечены сотни тысяч людей. Наконец, в России (аналогичная практика имеется и в США) была создана Государственная комиссия по проведению Всероссийской переписи населения 2002 г., в которую вошли ученые, а не только государственные служащие, и которая была призвана обеспечивать экспертную проработку принимаемых решений¹⁹. В России роль комиссии по переписи 2002 г. фактически была сведена к минимуму, ибо все важнейшие вопросы решались в конечном итоге путем импровизационных решений чиновников и экспертов из числа госслужащих. По нашим сведениям, к окончательной формулировке вопросов имели отношение не комиссия, а конкретные должностные лица: министры, начальники управлений администрации президента и аппарата правительства РФ. Даже ведущие специалисты и высшие должностные лица Госкомстата оказались оттесненными от этой завлекающей воображение высших госслужащих деятельности.

ПЕРЕПИСИ В КОНСТРУИРОВАНИИ КАТЕГОРИЙ

Как это ни странно, но наиболее интересные исследования о значении статистики в установлении и отправлении государственного контроля были выполнены на примере колониальных владений. Бенедикт Андерсон в своей знаменитой книге “Воображаемые общности” обратил внимание на перепись как на один из первейших механизмов функционирования колониального государства (имеются в виду прежде всего колониально-административные образования в Латинской Америке). Именно он сравнил переписи с “тотальным, классифицирующим рашпилем (или гранильней)”, которым государство проходило по собственной территории и тем самым превращало всех находящихся внутри этой территории в свою собственность. Андерсон выделил ключевой момент переписей: именно через эту процедуру устанавливались различия, проводились границы и правительства обрели способность различать “народы, регионы, религии, языки” среди подвластного населения. Само по себе очерчивание границ означало, что содержащиеся в их пределах компоненты могли и должны были быть подвергнуты счету и в итоге инкорпорированы в государственный организм²⁰. Вообще на протяжении длительной истории *главной целью государства в проведении пере-*

писи населения являлось создание различной совокупности населения, чтобы сделать ее объектом политики и правовых процедур, как, например, сбор налогов или воинский набор. Во многом эта цель остается и поныне, но у переписей появилось и много других задач.

Еще одна интересная черта использования категорий идентичности в ходе переписей – это конструирование особого представления о социальной реальности. Все люди в пределах “переписных” пространственных границ зачисляются в одну-единственную категорию граждан или жителей того или иного государства или региона. Тем самым в отношении всего данного населения осуществляется своего рода концептуализация политической общности, члены которой предположительно разделяют или должны разделять общую коллективную идентичность. Это не исключает, а даже предполагает и фиксацию “чужаков” (в ранних канадских, американских и других переписях эта категория и определялась как *aliens*, т.е. чужаки, иностранцы). В новейшее время эта категория обрела более изощренные градации (“апатриды”, “не рожденные в США” и т.п.). Но в любом случае всеобщая национальная перепись создает народ или нацию в более уверенном виде, когда эта общность посчитана и ей даже дано название (американский народ или нация, китайская нация – *миндзу* и т.п.). В случае с новейшей российской переписью впервые произойдет наиболее достоверное оформление того, что в Конституции страны определяется как “многонациональный народ”, от имени которого и провозглашена Российская Федерация.

Помимо создания легитимной категории “населения” процедура переписи осуществляет предписание или просто способствует формированию воззрений людей на мир как на состоящий из отчетливых групп людей, порождая вслед за этим особое внимание к сторонам социальной жизни, которые до этого не имели существенного, а тем более официально-статусного значения. Именно в результате переписей сами критерии, по которым людей разделяют на категории, обретают дополнительную, а иногда решающую значимость. Невозможно отрицать, что изначально и поныне переписи населения построены на мировоззренческой посылке, что люди подразделяются на групповые категории (расы, этносы, граждане, неграждане, верующие и неверующие и т.п.), вместо того, чтобы рассматривать социальные связи гораздо в более сложном и подвижном контексте, а саму социальную группировку как ситуативную процедуру. Как заметил Арджун Аппадурай, “для людей и для социальных типов статистика играет ту же роль, что и географические карты в отноше-

нии отражаемых на них территорий: они плоские и расчерченные”²¹. Таким образом, *данные переписи относительно категорий населения есть условность по отношению к самому населению в той же мере, как географическая или административная карта есть условность по отношению к отражаемой местности.*

КАК СОЗДАЮТСЯ НАСЕЛЕНИЕ И ГРУППЫ В ПЕРЕПИСЯХ

Следует отметить, что первенство в проведении переписей населения принадлежит больше церкви, чем государству, по крайней мере в Европе и в Америке. Подробная регистрация прихожан и приверженцев церкви, особенно в лоне римско-католической церкви, началась еще в XVI в. и сохраняется до сих пор. Это дело поставлено столь хорошо среди, например, религиозных общин США, что необходимость включать в программу национальной переписи вопрос о религии фактически отпадает.

В Европе и в Северной Америке создание национальных систем статистики развивалось с конца XVIII – начала XIX в. и было важнейшим средством модернизации государства. Одной из самых ранних периодических (раз в десять лет) переписей населения можно считать перепись 1790 г. в США. Именно с этого момента молодое независимое государство конституировало не только собственное население, но и первые его градации по группам, которые тогда еще не имели столь четкую дефиницию “расы” или “этнической группы”, а скорее брали за разделительный принцип регионы происхождения его граждан. Причем заметим, что территория, на которой разместилось новое государственное образование, никогда не была пустыней. К началу XVI в., когда началась европейская колонизация, здесь проживало около 3,5 млн индейцев, принадлежавших к 17 основным языковым группам и разместившихся на огромных просторах от восточного атлантического до северо-западного тихоокеанского побережий. Болезни, завезенные европейцами, особенно оспа, а также преимущество обладания огнестрельным оружием, сделали свое дело за два столетия индейско-европейских контактов. К моменту первой переписи 1790 г. на территории первых 13 штатов (т.е. это в основном восточное побережье) индейцы составили всего 1,2% населения, которое и было зафиксировано переписью как “коренные индейцы” (Native Indian).

Также появилась и была определена как отдельная группа населения африканские рабы. Прибытие первого раба на терри-

торию США – афро-американца (колония Джеймстаун – нынешний район Вашингтона) относится историками к 1619 г., но уже спустя 30 лет число африканских рабов достигло 50 тыс. (в основном в Вирджинии и Массачусетсе). Когда проводилась первая перепись, то чернокожее население составило вторую по численности зафиксированную группу – 19%. Самой многочисленной группой стали выходцы с Британских островов (British) – 70% всего населения. Это было примерно три из четырех миллионов жителей Соединенных Штатов. Среди них были англичане, уэльсцы, шотландцы, ирландцы. Почему именно была выбрана категория “британцы” – из-за господствовавшей идеологии и даже, возможно, в результате случайного творчества авторов первой переписи. Но ясно, что представление о стране как о стране пилигримов – выходцев с Британских островов, восставших и отделившихся от своей матери-метрополии, было на тот момент господствующим. Оно и определило данную классификацию групп.

В ее основе еще не было родившегося позднее представления о доминирующем культурном компоненте, который получил название WASP (белый, англосакс и протестант). Ибо в переписи была выделена еще одна (четвертая) категория населения – “другие североευропейцы” (Other Northern European). Составлявшие 10% населения, они были в основном выходцами из Голландии и Германии (точнее немецких княжеств, ибо Германии как таковой еще не было). Подавляющее их большинство разделяло ту же самую протестантскую веру. И хотя религия в тот исторический период была важнейшей формой идентичности, тем не менее авторы переписи провели различие по линии “британец–североευропеец” прежде всего по политическим и, возможно, по меркантильным соображениям: чтобы “британцам” не делиться в равной мере всеми преимуществами главных “собственников” нового государственного образования. Со временем эти основные категории уйдут в небытие, ибо прежде всего изменилось само американское общество, но, однако, заложенная первой переписью градация групп существовала очень долго и где-то ее отголоски сохранились до самого последнего времени.

В XIX в. США проводили регулярные переписи каждые 10 лет, и, казалось бы, несмотря на многочисленную иммиграцию (кстати, данное понятие тогда не употреблялось), это был период формирования представления об единой американской нации, за исключением, конечно, рабов и индейцев, которые никакими правами не обладали и в категорию “американского народа” не входили. Однако представление самих американцев и внешних обозревателей о неком едином народе было больше мифом, ко-

торый создавался не только пропагандистами, но и в том числе самими переписями, несмотря на все более утверждавшуюся в них расовую градацию, т.е. деление жителей на группы-категории, называемые “расами”.

Начиная с переписи 1850 г. появилась еще одна мощная разделительная линия между “рожденными в Америке” и “не рожденными в Америке”, которая отражала очередной и сохраняющийся поныне принцип деления жителей страны по времени иммиграции. Смысл этой переписной категории состоял только в одном: держать недавнее иммигрантское население в приниженом положении и получать дивиденды от его сверхэксплуатации остальными “настоящими американцами”, как будто бы все они сами когда-то не были иммигрантами. Этот рудимент общества жесткой дискриминации сохраняется и поныне, хотя смысл его присутствия в переписи сильно изменился, в том числе включая и обратные, “проиммигрантские” установки большей части современного американского общества.

С конца XIX в. переписи стали почти обязательной характеристикой современного государства, включая территории колониальных владений располагавших ими государств. Собирались специальные международные статистические конгрессы, на которых вырабатывались общие критерии и осуществлялся обмен информацией между представителями разных стран и соответствующих национальных ведомств. Ссылки на решения данных конгрессов до сих пор можно встретить в методической литературе статистических органов, в научных работах статистиков, включая российских экспертов и государственных служащих.

Утверждались данные процедуры нелегко и почти всегда в противоречии интересов государственной бюрократии и населения. Истории известны ранние попытки проведения всеобщих переписей, которые были отвергнуты населением и местными органами власти, как, например, во Франции в середине XVIII в.²² Аналогичные ситуации были в Канаде и США, где население, особенно вновь прибывшее, панически боялось введения новых государственных налогов и призыва на военную службу. Кстати, ранние переписи очень часто носили именно выборочный характер, ибо государству было важнее сосчитать не проживающее в нем население, а те субъекты, которые подвергались налогообложению или исполняли другие обязательства. Вот почему перепись могла охватывать только домовладения (именно они обкладывались налогом) и не считать представителей тех групп населения, которые налогами вообще не облагались (как, например, до переписи 1820 г. американские индейцы,

проживавшие на территории резерваций и не считавшиеся гражданами).

Первая всеобщая перепись населения в Российской империи 1897 г. дала богатейший материал о населении столь крупного и сложного по составу населения государства. Восприятие и интерпретация историками этой переписи до сих пор содержат в себе много мистификаций и постфактических рационализаций, как, например, опрокидывающее в прошлое вычисление численности русских по параметрам родного языка и вероисповедания, а не по самоидентификации, которая как категория в тот момент для переписчиков не существовала (что такое “национальность” население просто не знало), но которая действительно может быть единственным критерием этнической принадлежности, в том числе принадлежности к русским. Причем само содержание понятия “русского” (как и “татарина”, “таджика” и т.д.) пережило самые причудливые трансформации. Это также слабо учитывается учеными.

Например, в упоминавшемся труде Б.Н. Миронова приводятся таблицы распределения русского населения по районам Российской империи в 1897 г. и этнического состава населения России в 1719–1914 гг.²³ Первая таблица составлена на основе общего свода данных переписи 1897 г., и в данном случае цифры назвавших русский язык родным были переклассифицированы (уже исследователем, а не публикаторами переписи) как “русские”. В этой операции “склейки” этнонима и носителя языка есть две существенные проблемы. Во-первых, в конце XIX в. родным языком скорее считался язык, который человек лучше всего знал и которым чаще всего пользовался, а не язык, который должен был совпадать с названием народности. В России уже значительная часть нерусского населения подверглась языковой ассимиляции в пользу русского языка, особенно народы Европейского Севера, Поволжья, Северного Кавказа и западных регионов России. Если бы из этой категории можно было бы вычесть хотя бы неправославных, тогда бы численность этнических русских, вероятно, была бы точнее, но эта операция никем из исследователей не проводилась. Сделать это было возможно только при обсчете первичных данных переписи, но такой операции сделано не было, ибо прежде всего в ней не нуждались сами организаторы переписи: в то время русскими могли считаться все, кто исповедовал православие, не говоря о малороссах и белорусах.

Что же касается этнического состава дореволюционного населения России в историческом разрезе, то используемые для этого данные В.М. Кабузана и С.И. Брука²⁴ нуждаются еще в более серьезной коррекции. “Русский” в XIX в. и “русский” в XX в.

также различались, как и содержание названия “татарин”. Приведу лишь одну литературную цитату из “Дамы с собачкой” А.П. Чехова: «А что, ваш муж – немец? – спросил Анну Павловну Гуров, увидев на двери ее квартиры надпись “Фон Дидериц”. Нет, он – русский. Он принял православие». Не случайно в переписи 1926 г. переписчикам нужно было уточнять у тех, кто назвался “русским”, не является ли он “малороссом” или “белорусом”. Сужение понятия “русскости” до этнической категории произошло уже в результате и после переписи 1926 г.

Какие категории изначально вводились в переписях? Прежде всего стандартной категорией стало проживающее население (иногда с добавлениями – постоянное, непостоянное, совокупное и пр.). С конца XIX в. государства всегда хотели считать всех, кто находился в пределах его границ. Поэтому главной разделительной категорией стала *граждане–неграждане*. Близкой, но отличной от первой стала категория рождения в государстве и за рубежом. Обе категории имели большие нагрузки и в то же время свои отличительности.

Категории “граждан” и “иностранцев” были особенно значимы в тех государствах, где господствовала якобинская формула *нации* как согражданства и не признавались никакие другие внутренние подкатегории. Франция наиболее жестко стояла на протяжении почти двух столетий в процедуре проведения собственных переписей. В стране были только “французы” и “иностранцы”, которых переписывали по странам происхождения (как иммигрантов в США и Канаде). В 1962 г. категория “иностранцев” была распространена на новую группу населения, которую стали называть “натурализованными французами”.

О том, насколько болезненно во Франции государство и многие политики блюли чистоту нации, говорит хотя бы тот факт, что в начале 1980-х годов Генеральный секретарь компартии Франции Жорж Марше отправил в Политбюро ЦК КПСС жалобу на Институт этнографии АН СССР за то, что в изданном демографическом справочнике “Народы мира” (автор С.И. Брук) население Франции разделялось на отдельные народы (собственно французы, корсиканцы, бретонцы). От выговора институт и автора справочника спасли начавшиеся идеологические потепления и испорченные отношения между двумя компартиями²⁵.

Для стран массовой иммиграции не менее важной была категоризация населения по странам происхождения. Вопрос о месте рождения присутствовал фактически во всех переписях США, а позднее – в переписях Канады, Австралии, Великобритании. Поскольку этничность не имела того значения, которое

она обрела позднее, то все выходцы из Российской империи, например, шли на протяжении десятилетий как люди из “России” или как “русские”, хотя этнические русские среди них составляли явное меньшинство, а преобладали евреи, поляки, украинцы, финны²⁶. Последние исследования выявили, что только 2% “русских” иммигрантов в США могут считаться этнически русскими²⁷.

В российской переписи 1897 г. вопрос о гражданстве отсутствовал, ибо все жители страны и так считались подданными российского императора и никакой дополнительной легитимности для определения населения страны не требовалось. Важнейшую градацию на грани гражданской и культурной идентичностей представляли собой категории “православные” и “инородцы”. Как и во многих переписях того времени, российская перепись содержала вопрос о языке, что дало позднее основу для исторических реконструкций этнического состава населения страны. Однако выполненные историко-демографические исследования о русских, как мы уже отметили, не различают исторически обусловленные формы идентичности и как бы опрокидывают в прошлое нынешнее представление о “русском этносе”. Неучет изменения самого содержания *русскости* и механистические проекции данных переписей и других более ранних описей населения в конечном итоге приводят исследователя к политически предпочтительным выводам о русских не как о меняющейся во времени форме личностной идентификации, а как о некоем исторически оформившемся и длительно существующем коллективном теле, которое и осуществляет акт российского государствообразования и тем самым делает его (государство) легитимным.

В советских переписях озабоченность государства по поводу единого народа не находила отражения, ибо не существовало и самой этой озабоченности: факт существования, т.е. изначальная легитимность *советского народа* обеспечивалась не через всеобщий переписной референдум, а через другие механизмы, в том числе силовые и идеологическо-пропагандистские. Категория “народа” в переписях была отдана в пользу этнических идентификаций, которые в свою очередь были оформлены как “народы СССР” или “советские нации”. На этом ключевом вопросе следует остановиться особо, ибо именно здесь роль этнографов в государственной переписной политике оказалась решающей и по своим итогам противоречивой. Как известно, еще при Временном правительстве была создана в рамках Российской академии наук Комиссия по изучению племенного состава населения России (КИПС), в которую вошли лингвисты, географы, специалисты

по физической антропологии и этнографии, прежде всего специалисты по составлению этнографических карт России. Последние еще ранее в рамках деятельности специальной Постоянной комиссии Императорского российского географического общества (ИРГО) собрали информацию о языках, одежде, жилище и быте народов империи и подготовили проекты таких карт²⁸. Именно петербургские этнографы обратились в правительство с предложениями организовать изучение этнографического состава населения европейской и азиатской частей России. Ими подчеркивалась стратегическая ценность этнографической информации, поскольку к тому времени Германия организовала изучение этнического состава ряда западных территорий (Литвы, Галиции, Буковины, Бессарабии и других).

Именно тогда в острых спорах рождалось понятие о категории “национальность” или “народность”, которые до этого отсутствовали в научной и политической практике, в том числе и при проведении переписей. Население страны вообще не понимало смысл этого понятия, ибо пользовалось другими идентификационными категориями (православные, инородцы, местные самообозначения, в том числе и по этнокультурным параметрам). Председатель комиссии С.Ф. Ольденбург рекомендовал придерживаться языка и религии как основных показателей национальной принадлежности, тем самым ориентируясь на перепись 1897 г. Кстати, именно по принципу “национальности, определяемой по языку”, была произведена в 1919 г. демилimitация границ между Украиной, Белоруссией и РСФСР. Другие этнографы, например, В.В. Богданов, считали, что для неевропейской России язык не может использоваться в качестве показателя национальной (среди значительной части населения уже имела место значительная языковая русификация). Уже к 1920 г. КИПС перестал рассматривать язык в качестве основного определителя *народности*. Был выработан довольно сложный метод определения национальной принадлежности, т.е. *национальности*. Этнографы, в частности С.И. Руденко, сочли перепись 1897 г. в этой части ошибочной из-за отсутствия вопроса о национальности и предложили Наркомнацу ввести эту категорию в предстоящую перепись. В 1924–1926 гг. в КИПС были разработаны инструкции по регистрации национальной принадлежности и составлен Список национальностей СССР. Руководитель подкомиссии по переписи В.П. Семенов-Тянь-Шанский подготовил список из пяти вопросов для переписчиков при определении национальной принадлежности. Переписчику рекомендовалось узнать национальную принадлежность родителей опрашиваемого, вероисповедание, в “котором он родился”, вероисповедание во время опроса, язык детства, язык домашнего

общения, владение русским языком. Предлагались и другие перечни “объективных критериев” национальной принадлежности. Некоторые этнографы предупреждали, что население не понимает смысл этих вопросов, а в некоторых даже нет и аналогов таких терминов. Специалист по Средней Азии И.И. Зарубин рекомендовал переписывать ответы в пользу “правильных”: если назвался *сартом*, значит нужно записывать *узбек*.

Так в итоге родилась система двухступенчатой регистрации национальной принадлежности: фиксация ответов в ходе переписи и последующая их перекодировка и сведение к заранее заданному перечню. Сложность такой методики вынудила ЦСУ использовать разные подходы для разных регионов страны, чтобы население могло дать “правильные” ответы. На Украине вопрос задавали в форме “национальность (народность)”, в Закавказье дополнительно спрашивали о племени, роде и т.п. Для Средней Азии и для населения Сибири существовали свои отдельные инструкции.

С позиции сегодняшнего дня легко высказывать критическое отношение к тогдашней увлеченности этнографов вместе с властью способствовать процессу “национального самоопределения” некогда “угнетенных наций”. Однако бесспорен сам факт, что именно тогда и с активным участием ученых самого высокого ранга была сконструирована категория *национальность (народность)*, которая сегодня кажется столь непререкаемо фундаментальной не только для ученых и политиков, но и для “национализированного” населения.

Эта идеология дожила до сегодняшнего дня, и программа переписи 2002 г. в ее нынешнем варианте продолжает считать “народы России”, а не *статистические категории учета этнических идентификаций среди российского народа*. Смысл переписных данных не предполагает наличие такой категории, как российский народ, хотя россияне в этнокультурном, расовом и религиозном отношениях более гомогенны, чем, например, современные американцы, а тем более индусы или индонезийцы. Но представить себе, что авторы американских или индийских переписей отдали бы категорию “народ” для подсчета культурно-различительных групп населения, крайне трудно и даже невозможно: миф о едином американском народе или об индийской нации начал бы мгновенно рассыпаться, как и сама гипотетическая общность. В равной мере не считают “народы” и другие национальные переписи, резервируя столь мощную категорию для всего населения государства, и тем самым соблюдают основную миссию переписи, о которой я сказал выше: *создавать народ для государства*.

ИЗОБРЕТЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ КАТЕГОРИЙ

Наиболее сложным и запутанным вопросом переписей был и остается вопрос об использовании культурных категорий в отношении населения государств. Такой первичной категоризацией во многих случаях стало деление населения по расовому составу. Данная категоризация основывается на выборе определенных физических черт личности и конструировании на этой основе биологической категории в отношении носителей этих черт. Своего рода пионером данной новации выступили США, где сложилась давняя традиция деления населения на взаимно исключающие расовые категории. Хотя отношение и содержание понятия *раса* менялось, тем не менее оно стойко сохранялось в практике переписей, и именно переписи представляли собой главную сферу общественной деятельности, через которую конструировалась расовая номенклатура населения страны. Более того, именно переписи придавали легитимность и научную ауру расовой идеологии и общественной практике.

Вопрос о расе появился в переписях США с 1790 г. в форме простой дихотомии – *черные* и *белые*. Но со временем в США произошла сложная метаморфоза смешивания расовых и этнических категорий, ибо исходная методологическая позиция основывалась на том, что обе категории имеют эксклюзивный характер (они не могут носить множественную природу) и объективно связаны или даже предопределены происхождением. Именно как “раса” появились категории *индейцы* и *китайцы* в переписи 1870 г., *японцы* – в переписи 1890 г., *филиппинцы*, *индусы*, *корейцы* – в 1920 г. (в 1950 г. две последние категории элиминировали). В 1930 г. записывали отдельно *мексиканцев*, но потом от этой практики отказались. В 1960 г. появились *гавайцы*, *эскимосы*, *алеуты*.

Последние десятилетия XX в. были временем огромного интереса к феномену коллективных идентичностей. В США этот вопрос вышел далеко за пределы академического сообщества и вызвал ожесточенные дебаты с большими социальными и политическими последствиями. Отчасти это было вызвано болезненным наследием американского расизма и сохраняющимися расовыми проблемами, а также новыми волнами иммигрантов, которые во многом изменили облик современной Америки и ее идеологических устоев. Родившаяся формула “многокультурности”²⁹ оформила взгляд на страну и ее население как разделенной на определенное и фиксированное по групповому членству число различных “культур”, каждая из которых заслуживает своего достойного исторического места, статуса, равного обращения и ува-

жения, а также, возможно, и специальной поддержки. Этот новый общественный климат отразился и на практике переписей, а вместе с этим и на представлениях, что есть население Америки и кто есть американцы.

В 1977 г. в США была введена правительственная директива различения в федеральной статистике, включая и переписи, этнических и расовых групп населения. В итоге, начиная с переписи 1980 года, к “расовым” категориям были добавлены *корейцы, вьетнамцы, индусы, гуамцы и самоанцы*. Отдельный вопрос касался лиц испанского происхождения. В последней переписи 2000 г. эти категории остались фактически без изменения, внося огромную путаницу в этнорасовую классификацию. Именно перепись 1980 г. в США ознаменовала попытку придать этническую принадлежность каждому американцу, для чего была использована новая категория “происхождение” (ancestry), также использованы данные переписи по языку. Но вопрос о языке был сформулирован плохо, и эта формулировка часто менялась. В итоге появившиеся исследования, в том числе и знаменитая гарвардская “Энциклопедия этнических групп в США”, стали своего рода памятником устаревшей методологии или не очень удачным реверансом в пользу феномена “этнического возрождения”.

Закономерность здесь была одна и та же: как только вводилась новая категория, так сразу же увеличивалось число клиентов, желающих в ней находиться, хотя все предыдущие оценки численности культурно-отличительных групп этого не фиксировали. Так, например, число американцев словацкого, хорватского и франко-канадского происхождения удвоилось между переписями 1980 и 1990 гг., а число академиков (кейджанс) увеличилось в 60 раз. Все эти четыре категории в переписи 1980 г. отсутствовали, и их подсчеты делались на основе других данных. Появились они только в переписи 1990 г.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ТУПИК АМЕРИКАНСКОЙ ПЕРЕПИСИ

Несмотря на убежденность, что Америка страна свободного культурного многообразия и что американская нация построена не на принципах крови, происхождения, национальности или религии, а на всех объединяющем идеале либеральной демократии, отношение к культурному (этнорасовому, языковому, религиозному) разнообразию в этой стране было очень даже непростым. Масштабной и длительной дискриминации подвергались такие большие группы населения, как негритянские рабы и их освобо-

жденные потомки, американские индейцы, иммигранты-католики, китайские и мексиканские сезонные работники и еврейские торговцы. Многие из проблем и их последствия остаются и по сегодняшний день. Как пишет бывший директор Бюро переписей США Кеннет Приуитт, комментируя прошедшую перепись 2000 г., “в этой стране, хотя мы и живем вместе, но это не всегда получается мирно. Не всегда это совместное проживание было справедливым, и нет гарантии, что в предстоящие десятилетия мы будем жить по-другому. Есть проблемы, которые нам необходимо решать, особенно те, которые были вскрыты недавно проведенной переписью населения”³⁰.

Кеннет Приуитт имеет в виду прежде всего впервые осуществленный в истории американских переписей вариант *множественной расы*, т.е. возможность указания множественной расовой принадлежности. По его мнению, этот вопрос затрагивает саму суть конфликта между единством и многообразием в Америке: “Вариант множественной расы, по моему мнению, вызвал колебания, которые сигнализируют о наступлении политического и социального землетрясения. Это землетрясение случится вопреки казалось бы противоположной данному предсказанию тенденции в национальной демографии”³¹.

Что же есть это принципиально новое, если Америка уже пережила в своем развитии радикальные перемены в характере национальной мозаики? Как известно, в XIX – начале XX в. иммиграция изменила облик страны, первоначально основанный на североевропейском, протестантском компоненте. В начале XX в. американское общество представляло собой уже сплав протестантов, католиков и евреев-иудаистов. Но эта масштабная и со значительными последствиями перемена не идет в сравнение с тем, что произошло с Америкой во второй половине XX в. Ее народ стал представлять в буквальном смысле все известные цивилизации, культуры и языки, т.е. американские граждане стали не просто культурно-сложным обществом, но своего рода первой в истории “мировой нацией” или “нацией мира” (world nation).

И вот здесь, пожалуй, впервые мы ставим вопрос об исторической уязвимости американского проекта, по крайней мере в том его виде, как он отражается и реализуется переписной процессуальностью. Если внимательно посмотреть на итоги последней переписи, то получается следующая картина. Вопрос о расе позволял выделить 15 отдельных групп, но на самом деле, если не считать подгруппы в категории *азиаты*, то базовая система расовой классификации признает только шесть категорий: *белые, черные, азиаты, индейцы и аляскинские аборигены, коренные гавайцы и жители тихоокеанских островов, и другая (раса)*.

По сравнению с переписью 1990 г. здесь только одно отличие: гавайцы и другие тихоокеанцы выделились из “азиатов” в самостоятельную категорию. Более серьезное и принципиальное отличие отразилось через впервые предоставленную возможность ответа на вопрос об “одной или более” расовой принадлежности. Варианты ответов в рамках вышеназванных шести категорий позволяют получить 63 отдельные расовые группы (точнее, группировки). Выделенная как этническая категория *испано-американцы* и *не испано-американцы* разделила все население еще на две дополнительные категории, позволив тем самым зафиксировать 126 возможных расовых/этнических группировок.

Что получилось в итоге инструкции к вопроснику “отметьте одну или более рас”? Хотя не так много американцев указали множественную расовую принадлежность (около 7 млн, или 2,4% населения), однако среди детей доля “многорасовых” американцев в два раза выше, чем среди взрослых. Это означает, что с каждой следующей переписью и по мере возрастания числа межрасовых браков, а также психологического привыкания к подобной опции это число будет продолжать расти. Как отмечает Кеннет Приуитт, «что действительно имеет экстраординарный смысл, так это то, что нация неожиданно перешла, причем с минимальным пониманием последствий, от ограниченной и сравнительно закрытой расовой таксономии к варианту, у которого нет никаких ограничений. В будущем расовые категории несомненно станут более многочисленными. А почему нет? Какие основания у правительства объявить, что “все, хватит”? Когда существовали только три или даже четыре и пять категорий, тогда такая позиция имела бы смысл. Но сейчас мы, как нация, как мы можем решать, что позволенное для нынешней переписи 63 расовых или 126 расовоэтнических групп есть то самое “правильное” число? Это уже невозможно сделать, как и не может быть никакого другого “правильного” числа. Не существует ни политических, ни научных ограничителей»³².

Более того, по причине поколебленных современной наукой основ расовых подразделений, позицией государства при проведении переписи может быть только принцип самокатегоризации, который отныне должен распространиться на всю систему официальной статистики. Расовая принадлежность – это личный выбор каждого опрашиваемого. Никто не способен отказать американцу с самой малой долей “белой крови” указать, что он в расовом отношении принадлежит к “черно-белой”, или к “индейско-белой”, или к “черно-азиатской”, или к “азиатско-гавайской” расовой группе. Основанная на расовых и этнических параметрах политика идентичности будет неизменно усиливаться в США, по-

ка с той или иной формой идентификации связано распределение определенных общественных благ и преимуществ.

Наверняка, скоро в США появятся новые группы, которые будут требовать признания и удовлетворения их специфических запросов и требований. Например, арабско-американская община в лице своих активистов уже заявила о желании стать “расовой группой” при проведении переписей. Без признания через перепись невозможно сформулировать те или иные программы и требования. Все это означает, что *вся нынешняя система расовой таксономии имеет одновременно слишком мало и слишком много категорий и по этой причине является уязвимой, и более того – несостоятельной, с точки зрения будущего развития Америки.*

Эта историческая несостоятельность просматривается в следующих возможных коллизиях. Во-первых, под вопросом оказывается вся система на основе статистической пропорциональности устранения дискриминации в различных общественных сферах и в области гражданских свобод и политических прав. Этот механизм радикально ослабнет по мере того, как будет возникать все больше и больше расовых групп и подгрупп. Во-вторых, в случае ослабления американской экономической мощи и возможного роста конкуренции за рабочие места в США неминуемо ослабнет эйфория от формулы многокультурности, и вполне могут возникнуть снова антииммигрантские и расистские установки и конкретная политика. Формула процветающей и прочной этно-расовой мозаики не является раз и навсегда данной для этой страны. Любой более или менее серьезный кризис, в том числе и политический, порождает всплески ксенофобии и экстремизм, которые всегда присутствуют в американском обществе. В-третьих, длительно существовавшая толерантность в религиозной сфере до этого касалась главным образом протестантско-католического диалога, и нет уверенности, что столь же естественно он может распространиться на растущих численно мусульман, индуистов и буддистов. Наконец, расширение, но не элиминация групповых категорий в современных условиях вполне может означать конец старой основы иммигрантского общества – это стремление “стать американцем”, означавшее разную степень ассимиляции. Теперь обращение к групповому партикуляризму иммигрантов с высоким социальным статусом и из вполне состоятельных стран, а также использование групповых прав становится средством преуспевания, а не маргинализации, как это было еще 50 лет тому назад. *Америка должна будет стать другим обществом, где на смену неудобным “расовым” категориям может прийти формула “многонациональности”, которая является самораз-*

рушительной для любого государства. Это и будет возможное прощание с Америкой.

Конечно, не перепись виновата в столь тревожном прогнозе и в сегодняшнем манипулировании этническими и расовыми категориями. Но без переписи это манипулирование было бы невозможным. Америка умела находить ответы на самые серьезные вызовы и решать проблемы собственного общества. Мое ощущение, что одним из таких ответов к моменту следующей переписи 2010 г. будет устранение из программы вопросов о расе и об этничности. Исправить в этой изначально несостоятельной процедуре едва ли что-либо удастся.

ПОСТСОВЕТСКИЕ ПЕРЕПИСИ

Первые постсоветские переписи населения имеют исключительное общественно-политическое значение, ибо это своего рода финальные акции в процессе образования новых государств. Во-первых, этими акциями официально устанавливается факт наличия населения государства, а значит, тем самым легитимизируется и само государство. Во-вторых, в условиях многих неопределенностей, включая возможные территориальные споры (между рядом постсоветских государств до сих пор нет обоюдно и официально признанных границ), переписи охватывают не только население, но и территории в пределах новых государственных границ, делая после этого внешние претензии более трудными. В-третьих, только переписи могут наиболее полно отразить миграционно-демографические и социально-культурные переменные в ходе общественных трансформаций, вокруг которых ведутся принципиальные политические дебаты. В-четвертых, в ходе первых переписей можно реализовать конструирование облика новых наций и государств, подправив через переписные категории и манипуляции неудобную “жесткую реальность”, как, например, выяснить, кто есть “главный”, а кто есть “меньшинство”. Наконец, именно в этом раунде переписей, как никогда, возможны новации и неизбежны коллизия новых методологических установок с опытом советских переписей, новых и старых взглядов и политических интересов, а также более открытое соотношение отечественного и международного опыта в проведении переписей.

Интересен сам эксперимент осуществления отличительных переписных программ в разных странах на однородном в социально-культурном плане человеческом материале – бывших советских гражданах. Однако этот сравнительный аспект постсо-

ветскости остается задачей последующих исследований. Отметим только, что к началу 2003 г. 10 стран бывшего СССР провели переписи населения. Это Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Украина, Латвия, Литва, Эстония, Таджикистан. В 2002 г. перепись прошла в России. Планируют провести перепись Узбекистан и Туркменистан. В целом советские традиции статистики, образованное население и достаточные (хотя и скромные) материальные ресурсы позволили провести переписи на должном уровне, если сравнивать ситуацию по аналогичным среднеразвитым странам, проводящим всеобщие переписи. Проблемы возникли в других достаточно неожиданных для организаторов переписи аспектах.

В конце 1998 г., когда пришла пора назначать дату очередной переписи населения, российские власти оказались не готовы к осуществлению этого мероприятия по материальным (финансовым), политическим и морально-психологическим причинам, хотя Государственный комитет по статистике Российской Федерации (Госкомстат России) уже задолго готовился к проведению переписи в 1999 г. Официальным объяснением переноса сроков переписи были последствия финансового дефолта 1998 г., когда российская казна оказалась без средств для проведения переписи. Однако, на наш взгляд, были и другие не менее существенные, хотя и необъявленные причины, среди которых самая важная – это боязливое нежелание администрации Б.Н. Ельцина фиксировать негативные итоги реформ, о которых предпочитала говорить значительная часть общества, включая научное сообщество. В наличии “демографической катастрофы” и в “обнищании народа” были убеждены почти все, а не только оппозиционные политики и ученые. Коммунистическая оппозиция готовила Ельцину импичмент, в том числе и за “геноцид против народа”. Это оказало влияние на решение не проводить перепись в 1999 г. Пришедший к власти новый президент В.В. Путин не считал возможным проводить перепись в начальный срок своего пребывания у власти. Так, в итоге дата переписи оказалась сдвинутой на октябрь 2002 г.

Особый вопрос – это роль и позиция Госкомстата России, который часто в работах ученых и в журналистских публикациях изображается как бюрократический монстр без позитивных устремлений. Госкомстат чаще всего называется виновником всех проблем и недостатков переписей. На наш взгляд, антропологический анализ этого ключевого актора должен включать более чувствительный подход, чем демонизация учреждения. Для должного анализа феномена переписи невозможно игнорировать то обстоятельство, что Госкомстат России, прежде всего

Управление по переписи населения и демографической статистике, занимался постоянно подготовкой первой российской переписи, начиная с пробной переписи 1997 г. и даже еще раньше. Своего рода репетицией предстоящей всеобщей переписи была микроперепись 1994 г. В 1995 г. прошло Всероссийское совещание статистиков, где речь шла о подготовке первой постсоветской переписи.

Достижением Госкомстата России была подготовка и проведение через Федеральное Собрание закона “О Всероссийской переписи населения” (принят Госдумой 27 декабря 2001 г. и подписан президентом 25 января 2002 г.), которым впервые в истории государства создавалась законодательная основа для проведения переписей. Однако федеральный закон о переписи содержал несколько уязвимых положений: из старого опыта было взято худшее, а нововведения были далеко не самыми лучшими. Но самое интересное – это идеология переписи, которая частично отражена в краткой преамбуле закона: “Всероссийская перепись населения является основным источником формирования федеральных информационных ресурсов, касающихся численности и структуры населения, его распределения по территории Российской Федерации в сочетании с социально-экономическими характеристиками, национальным и языковым составом населения, его образовательным уровнем”.

Выделим два момента в этом определении. Во-первых, перепись – это всего лишь “федеральный информационный ресурс”, предназначенный для использования в управлении, а не источник информации и ресурс для всего общества, в том числе для науки и для других общественных структур и институтов. Это зауженное понимание миссии переписи оказало влияние на поведение правительственной бюрократии в отношении переписи как исключительной собственности госаппарата, а не как общероссийского дела. Государственная комиссия по проведению переписи носила формальный характер. Вопросы решали (справедливости ради, во многих случаях не без консультаций с учеными) некоторые вовлеченные в это дело министры, ответственные работники Администрации президента и центрального аппарата Правительства РФ и, конечно, работники Госкомстата. Во-вторых, важное значение имеет сформулированная в законе задача определения “национального и языкового состава населения”. Естественно, под “национальным составом” имелись в виду численность, размещение и другие параметры проживающих в стране этнических общностей. Но что имелось в виду под “языковым составом”? Естественно предполагать выяснение, какими языками владеет и на каких языках разговаривает население, т.е. выясне-

ние языковой ситуации для целей образовательной и культурно-информационной политики. Однако многие акторы переписи понимали задачу переписи в данной сфере по-другому.

Как закон определил основные сведения о населении, которые могут (подчеркнуто мною. – *В.Т.*) собираться в ходе переписи? Среди прочих в этом перечне числятся “национальная принадлежность” и “владение языками (родной язык, русский язык, другой язык или другие языки)”. Это не окончательные формулировки вопросника, но текст закона сыграл определяющую роль в выработке вопросника 2002 г. Именно на закон ссылались ключевые акторы в тех случаях, когда трудно воспринимались отличающиеся от текста закона формулировки или когда нужно было заблокировать новации.

Принятие закона в декабре 2001 г., а перед этим проведение в ноябре 2001 г. Госкомстатом России и Российской академией государственной службы симпозиума о международном опыте переписей означали завершение подготовительной стадии переписи. Как мне представляется, в конце 2001 г. ни для властей, ни для ученых не было вопросов в отношении законодательной основы переписи, а программа переписи (вариант вопросника был роздан участникам симпозиума), казалось, была определена окончательно, как и принятый федеральный закон. Симпозиум 27–28 ноября и расширенная коллегия Госкомстата 29 ноября 2001 г. с участием руководителей региональных статуправлений и руководителей статистических ведомств других постсоветских государств прошли в оптимистических тонах, включая хвалебные слова в адрес отечественной статистики со стороны руководителя Статистического отдела ООН³³. Однако это не сняло ряд проблем в организации переписи.

Под воздействием реакции общества на предстоящую перепись, а также, возможно, по соображениям личного или корпоративного характера организаторы переписи были одержимы вопросами обеспечения конфиденциальности и анонимности, которые часто смешивались друг с другом. Я вполне допускаю, что большинство высших федеральных чиновников, будучи богатыми людьми и проживая в дорогих загородных особняках, могли имплицитно проецировать перепись на свою личную ситуацию и отторгать более жесткий подход к переписи. Закон установил сомнительный принцип добровольного участия в переписи как “общественной обязанности человека и гражданина”, что впоследствии сыграло отрицательную роль в обеспечении главных условий качественной переписи – это всеобщего охвата населения и точности сообщаемых данных. Никто принцип добровольности не подвергал сомнению до момента публикации в “Независимой

газете” (30 сентября 2002 г.) моей статьи “Перепись должна быть обязательной”. Однако за десять дней до начала переписи уже было поздно сделать какие-либо поправки к закону за столь короткий срок. Как сказал мне один из депутатов Госдумы, “твоя статья стала нашим позором, но мы же не специалисты-универсалы, чтобы все предвидеть”.

Мне представляется, что авторы закона и Государственная дума продемонстрировали недостаточную компетенцию в области правового обеспечения переписей населения, а также не учли ситуацию с правовым сознанием и с состоянием гражданской ответственности среди населения России. Понятие “общественная обязанность” ушло из сознания россиян с крахом коммунистического правления, а новое чувство ответственного гражданина еще не сформировалось. Почему международные эксперты, в том числе и представители ООН, не обратили внимания российских коллег на эту проблему? Ответ на этот вопрос мне неизвестен, но зато известно, что во всех странах перепись носит обязательный характер.

В апреле 2002 г. правительственные чиновники, ответственные за перепись, усугубили дело тем, что сняли с вопросника указание имени и фамилии опрашиваемого, видимо, не будучи уверенны в обеспечении конфиденциальности информации со стороны самого государства. В советские времена перепись действительно не была правовой обязанностью, но тогда исполнение “общественной обязанности” гарантировалось всеобщей покорностью граждан и партийным контролем. В новых условиях эти механизмы уже не работали. Анонимность не добавила гарантий проведения качественной переписи и даже, наоборот, снижала ответственность опрашиваемого за точность информации в момент опроса. По некоторым данным, инициаторами введения анонимности вопросника были министр труда и социальной политики А.П. Починок и некоторые чиновники из администрации президента. Именно А.П. Починок на расширенном заседании Государственной комиссии по проведению переписей 28 апреля 2002 г. представил анонимность как высшую форму обеспечения конфиденциальности, а также демократичности самой процедуры. Госкомстат не пытался оспаривать это решение, но придумал маневры, компенсирующие некомпетентные вторжения влиятельных лиц. Были разработаны инструкции как записывать опрашиваемых, чтобы обеспечить контроль за опросом и выполнение проверочных процедур. Кроме этого, в одной из форм вопросника фиксировались адресные данные и даже имя и фамилия. И все же переписные листы утратили столь необходимые не только для проверки, но и для будущих историков личностные данные.

Таким образом, проблемы организаторов переписи и государственного аппарата в целом заключались в следующем. *Первое* – это трудное восприятие возможных новелл и слабая заинтересованность в их воплощении. Преемственность данных и привычная ясность для практических работников казались более важными, чем эксперименты, а тем более радикальные изменения в программе. Эта позиция вполне понятна, особенно в условиях запаздывания с проведением переписи и цейтнота времени в самый канун переписи, когда дискуссии и изменения могли сорвать график подготовки и даже саму перепись. Но понимание не есть оправдание, а только основание для вывода о необходимости более открытого и глубокого обсуждения этих проблем на более ранних стадиях подготовки. *Вторая* проблема заключалась во внешних вмешательствах влиятельных правительственных чиновников и Администрации президента, которым было почти невозможно противостоять, а также в недостаточном взаимодействии с экспертным сообществом, даже если последнее само не выступало монолитным сторонником обновленного подхода к переписи в вопросах национальности и языка.

ПРОГРАММА ПЕРЕПИСИ: ВЗГЛЯД НАЗАД ИЛИ ВЗГЛЯД ВПЕРЕД?

Что касается программы переписи, то ее организаторы психологически не были настроены переписывать новую страну и новую ситуацию, ибо с начала 1990-х годов значительная часть российского общества и большинство экспертов хронически пребывали в состоянии отрицания настоящего. Так, например, за последние 10 лет в стране уже фактически не стало коммунальных квартир, а владельцев двух квартир стало больше, чем проживающих в коммунальных квартирах. В России имеется около 40 млн дачных участков, т.е. второго жилья разного типа – от летних домиков до благоустроенных особняков. Однако программа переписи 2002 г., как и предыдущая перепись, предусматривала дополнительный опрос по жилищным условиям с подробным выяснением условий живущих в коммунальных квартирах и фактически не предусматривала сбор сведений о втором жилье. Это вполне совпадало с господствующим общественным климатом по части самовосприятия страны как страны разрушенной и пребывающей в жестоком кризисе. Даже президент Путин назвал Россию “очень бедной страной”, не говоря уже о прессе и об ученых.

Другим важным элементом господствующей парадигмы кризиса стал миф о демографической катастрофе в России и “выми-

рании нации” под воздействием реформ. Текущая статистика Госкомстата давала оценочную численность населения на 2002 г. в 143 млн человек, т.е. почти на 5 млн меньше чем в 1989 г. Сильно разойтись с этой цифрой по итогам переписи Госкомстат не мог, не поставив под сомнение корпоративный престиж. В течение последних 7–8 лет наука и статистика дружно кормили друг друга поверхностными и политизированными разговорами и данными о катастрофическом падении численности населения и о предстоящей утрате трети или половины населения. Эти же данные, к сожалению, были использованы и ООНовскими структурами в оценке демографических процессов в России. В свою очередь, “прогноз ООН” стал главной отсылкой для подтверждения демографической катастрофы.

На интернетовском сайте Госкомстата по переписи населения в разделе “аналитика” была помещена единственная статья профессора МГУ Бориса Хорева, перепечатанная из коммунистической газеты “Завтра”, под названием “На краю гибели”, в которой изложены алармистские и национал-шовинистические взгляды на демографические проблемы страны. Хорев пишет о том, что “к концу XXI в. на территории русской земли останется не более четверти ее сегодняшнего населения”, и делает следующий заключительный вывод: “Противоядие, которое существует, – постепенное вовлечение в Союз Белоруссии и России, одну за другой, всех стран СНГ. Но тут совершенно ясно нарастание противоречий с американским империализмом, который, пользуясь нашей сегодняшней слабостью, хотел бы эти страны от нас отсечь. Поэтому нужен прочный союз с Китаем и Индией, который позволит противостоять Западу. Все вышесказанное означает только одно – Россия стоит на краю гибели. Русский этнос может остаться в XXI веке государствообразующим только при полной смене властного режима, осуществляющего катастрофический для страны курс, и создании правительства национально-согласия”. И этот политизированный бред, помеченный датой 11 июля 2002 г., был помещен на официальный сайт всероссийской переписи населения! Не случайно общество было буквально запрограммировано установкой, что перепись должна “посчитать сколько нас осталось” (такое название газетной статьи в “Независимой газете” было одним из многих аналогичных вариантов газетных заголовков, посвященных переписи).

Что касается программы переписи по части вопросов о национальности и языке, то здесь в конечном итоге был использован советский опыт восприятия этих субстанций, хотя на начальном этапе Госкомстат проявил большую долю самостоятельности и готовность к новациям. В первом варианте вопросника (утвер-

жден Госкомстатом 27 марта 2000 г.) присутствовала формула, предложенная Институтом этнологии и антропологии РАН и использованная для переписи 1994 г., которая звучала следующим образом: “К какой национальности (народу) или этнической группе Вы себя относите?”. Эта формула отличалась от формулы переписи 1989 г., но, на мой взгляд, она была не лучше прежней. Этой формулой опять же предполагалось существование иерархии этнических общностей, которая не только научно уязвима, но и была непонятной населению. Тем более, что в итоговом списке эта иерархия никак не отражалась, ибо конечный продукт получал название “перечень основных национальностей”.

По моему предложению, поддержанному Ученым советом института, эта формула была изменена на вариант “Какова Ваша национальная (этническая) принадлежность”. Эта формула также была принята Госкомстатом уже для переписи 2002 г., и даже существовал пробный вариант вопросника с такой формулировкой. Смысл ее был в том, чтобы постепенно вводить понятие этнической принадлежности вместо (или наряду) с категорией “национальность”, которую важнее было зарезервировать для определения гражданской принадлежности. Моя идея заключалась в том, чтобы через 10 лет поменять местами “национальная” и “этническая” или же оставить только “этническая принадлежность”. Все эти замечания были мною изложены в письме на имя вице-президента РАН А.Д. Некипелова, у которого состоялось рабочее совещание с участием ведущих специалистов в этой области. В итоге от РАН было направлено письмо на имя В.Л. Соколова с предложением внести изменения в программу переписи.

Однако перед самым утверждением окончательной формы вопросника Правительством Российской Федерации 20 апреля 2003 г. по настоянию Правового управления Администрации президента формулировка была изменена на вариант 1989 г.: “Ваша национальность”. Представители Госкомстата без должной академической поддержки не смогли объяснить и отстоять смысл предлагавшегося нововведения. Так страна ушла с наследием 1926 г. до следующей переписи через десять лет.

ЯЗЫК И ПЕРЕПИСЬ

Проблема языка и переписи населения в России столь неадекватно воспринимается многими научными работниками и провалы в понимании ситуации столь велики, что речь может идти об общественно-политическом ущербе для российского общества в результате слабой обществоведческой экспертизы. Предсе-

датель Госкомстата России В.Л. Соколин был прав, когда упрекнул ученых в создании запутанной ситуации вокруг вопроса об языке в российской переписи 2002 г., в результате чего переписной лист менялся в самый последний момент, а за этим последовали дополнительные инструкции, которые еще больше запутали дело. В итоге данные переписи 2002 г. о языке, по моему мнению, будут носить противоречивый характер, и их интерпретация будет крайне затруднена. Однако и предыдущие советские переписи имели мало общего с реальной языковой ситуацией и скорее служили оправдывающей основой для схоластики по поводу так называемых языковых процессов.

Казалось бы, что особо важного может заключаться в проблеме сбора данных об языковой ситуации в ходе переписей населения? Государство и общество, включая ученых, желают знать, на каких языках говорит население страны, какие языки распространены среди разных групп населения и в разных регионах, в какой мере распространены ситуации двуязычия и многоязычия и, наконец, в каких сферах распространено употребление того или иного языка. Полученное в переписи знание о владении и пользовании языками легко может быть сопоставлено с полученными данными о национальности для выяснения различных видов многоязычия и языковой ассимиляции, понимаемой прежде всего как переход с языка, совпадающего с национальностью, на другой язык. Для этого достаточно задать один или два вопроса: “Какими языками Вы владеете и каков ваш язык основного общения?”, с возможностью указать несколько (два, три или более) языков в убывающем порядке по степени знания и использования. Такой опрос в России мог бы дать ответы и на владение русским языком, который является основным (т.е. родным) для подавляющего большинства населения, и на владение другими языками, которыми пользуются представители различных этнических общностей. Поскольку вопросник российской переписи содержит данные о национальной принадлежности опрашиваемого, вопрос о языке в сопоставлении с данными о национальности дает точную информацию о степени сохранения и использования языка соответствующей национальности, языковой ассимиляции и двуязычии (многоязычии). Однако ирония в том, что по разным причинам и в разные времена именно таким образом вопросы в отечественных переписях фактически не ставились.

Российские переписи в фиксации языковой ситуации отличаются особой уязвимостью по причине преимущественного использования специфически понимаемой категории “родной язык” и последующей интерпретации данных. Осмелюсь заявить, что это вопрос имеет столь большую общественную значимость,

что если бы в СССР существовала адекватная информация о том, на каких языках разговаривает население страны, и если бы существовали адекватные интерпретация и восприятие положения дел в языковой сфере, то распад СССР был бы невозможен в варианте, когда языковой национализм бывших советских меньшинств привел к “наказанию” русского языка, поставив в дискриминационное положение так называемых русскоязычных и затруднив модернизационное развитие постсоветских государств, где этот язык был основным языком знания и общения для большинства населения. Речь идет прежде всего о большинстве населения таких стран, как Беларусь, Казахстан, Киргизия, Латвия, Молдова, Украина, где этот язык был родным даже для большинства белорусов и от трети до половины украинцев, казахов, киргизов, молдаван.

Я не рассматриваю здесь дебаты по поводу языковой ситуации в СССР, но приведу некоторые оценки, которые проистекают из данных переписей. Существующая на сегодняшний день оценка со стороны российских социолингвистов сводится к критике советской “национальной политики”, которая стала причиной распада СССР: «В области языковой политики это проявилось в приниженном уровне и качестве функционирования языка каждого из “советских народов” по отношению к русскому языку. Это привело к такому негативному явлению, как национально-культурный и языковой нигилизм по отношению к национальной культуре и родному языку. В современной социолингвистической литературе такая или сходная с ней политика определяется как “языковой империализм”, а ее последовательное проведение в жизнь характеризуется как “языковой геноцид” или лингвицид»³⁴. Именно ослабление репрессивной политики языковой ассимиляции вызвало, по мнению В.П. Нерознака, “фундаментальные изменения в структуре языковой ситуации в СССР, а позже и в России” с последующими глубокими геополитическими последствиями³⁵.

Подробно процессы постсоветской языковой реформы были рассмотрены в работе М.Н. Губогло, который в советское время много занимался вопросами двуязычия в СССР. Его вывод несколько отличается от вывода В.П. Нерознака. Он сводится к тому, что не языковой этноцид, а сама логика языкового реформирования в значительной мере “сработала” в бывшем СССР и привела в конечном счете к его развалу³⁶. “Развал Советского Союза начался с мобилизованного лингвицизма, благодаря которому языки титульных национальностей были возведены в статус государственных языков, практически заблокировали доступ представителей нетитульного населения в кабинеты власти и содейст-

вовали достижению трех результатов: форсированной неокоренизации аппаратов управления, становлению этнократических режимов в бывших союзных республиках и, наконец, распаду Союза”³⁷. Казалось бы, в данной теме нет секретов, особенно после выхода монографий по социолингвистическим проблемам СССР и постсоветского пространства, написанных В.М. Алпатовым и Н.Б. Вахтиным с привлечением широкого круга иностранной литературы и с критическим подходом к некоторым казавшимся устойчивым постулатам в данной отрасли знания³⁸.

И все же непозволительно долго остается вне внимания отечественных специалистов более тонкое и рефлексивное восприятие того, что называется языковой ситуацией или языковыми процессами, и того, что можно определить как общественно-политический дискурс и процессуальность по отношению к языковым вопросам. Насколько мне удалось обнаружить, за языковыми вопросами и интерпретациями стоят ментальная инерция и политические предписания, которые затрудняют адекватный анализ. Мои собственные этнографические наблюдения расходятся с академическими установками и с описаниями языковой ситуации в многочисленных трудах российских специалистов. Достаточно привести только один пример: в 1989 г. в Усть-Ордынском Бурятском автономном округе Иркутской области мною были зафиксированы многочисленные случаи, когда родители в ходе переписи 1989 г. записали себе и своим детям родной язык бурятский, хотя дети не знали ни одного слова по-бурятски, а их родители также не разговаривали на бурятском языке.

Давняя оговорка в инструкциях переписчикам, что “родной язык может не совпадать с национальностью” фактически не работала, ибо население вслед за учеными и политиками полагало, что родной язык есть язык своей национальности и должен быть указан именно этот язык. Тем более вопрос о родном языке не содержал требования об его знании и использовании. 5,4% населения СССР, которые указали в переписи 1989 г. родным языком язык не своей национальности, относились к тем, кто давно и полностью утратил язык, совпадающий с национальностью, и более того – кто считает себя русскими по культуре, указывая другую национальность по причине господствующих процедуры (“еще родители записали армянами”) и стереотипа (“с армянской фамилией трудно объявить себя русским”).

Таким образом, данные советских переписей радикальным образом занижали степень распространения русского языка в стране, а отрицание высокого уровня языковой ассимиляции в пользу русского языка было вызвано совпадающими установками советской национальной политики и периферийным (нерус-

ским) национализмом. Входить с тем же самым наследием в первую перепись населения Российской Федерации и получить данные не о языковой ситуации, а о “языковой принадлежности” как об “одном из двух показателей этнической принадлежности человека”³⁹, было бы академическим и политическим расточительством. Но можно ли было исправить столь фундаментальную ситуацию, за которой стоят престиж ученых, взгляды и амбиции этнических лидеров, а также ставшее повседневной рутинной словоупотребление? Даже в академическом сообществе этот вопрос требует своего исследования в историческом и в современном контекстах⁴⁰.

Как известно, впервые в 1853 г. на международном статистическом конгрессе в Брюсселе категория “разговорный язык” (*langue parlée*) появилась в качестве рекомендации для всех государств, проводящих перепись. Особых споров вокруг этой рекомендации не было. В то время дискуссия велась больше по содержанию термина национальность. На конгрессе 1872 г. в Санкт-Петербурге было признано, что “культурная национальность” должна фиксироваться на индивидуальном уровне и язык является наиболее надежным признаком такой национальности, ибо “каждый человек знает хорошо язык своего детства, чтобы на нем думать и выражаться”. Статистики тогда договорились, что язык является самой надежной категорией, которая статистически может зафиксировать этнические группы. Конгресс не рекомендовал включать в программы переписей вопрос о культурной национальности вообще. Язык должен был стать главным определителем культурных наций.

Но как сформулировать вопрос? Рекомендована была формула “язык обычного общения” (язык разговора или разговорный язык). Но различий между личной и общественной сферами не было сделано. Хотя уже в те времена язык домашнего общения мог часто отличаться от языка работы или неформального публичного общения. Но после этого начались разногласия и разночтения. Российские статистики истолковали рекомендации в форме категории “родной язык” – категории, которая уже употреблялась в городских переписях 1860-х годов и которая сохранилась в переписи 1897 г. Австрия предпочла для своей первой переписи 1880 г. категорию “используемый язык”. Как оказалось, обе формулировки были уязвимыми и вызвали политические дебаты. Ибо данные об языке, которые появились в первых переписях восточноевропейских стран в последние два десятилетия XIX в. (Австрия, Венгрия, Пруссия, Россия), часто трактовались как данные об этническом составе населения этих стран.

После Первой мировой войны, образования ряда новых восточноевропейских стран и СССР в переписях стал напрямую задаваться вопрос о национальности граждан (вместо языка, как в Румынии и Польше), или в добавление к языку (как в СССР) или вместе. Западная Европа не приняла эту практику культурной национальности и воспринимала восточный опыт как опасное проявление этнонационализма в ущерб гражданскому национальному строительству.

В настоящее время ООНовская служба демографии и статистики в своих рекомендациях по проведению переписей населения определяет материнский язык как первый выученный язык. Но это не единственный подход. В немецко-язычном мире *muttersprache* не привязан к первому выученному языку, а к языку свободного владения и даже языку мысли (*denktsprache*). Канадская перепись спрашивает о первом выученном языке, но с добавлением “знание сохраняется” (*and still understood*), однако не упоминается термин “материнский язык”. Культурно-отличимые подходы существуют даже тогда, когда вопрос звучит одинаково, но население разных стран понимает его по-разному.

Восточноевропейские страны и постсоветские государства, где проведены первые переписи, пошли по пути пересмотра старой советской формулы о родном языке. Так, например, в Румынии перепись была в марте 2002 г. В вопроснике “национальность” означала принадлежность человека к этнической группе, определяемой также исходя из культуры и религии. Для кодирования информации использовалась “номенклатура национальностей”. Что же касается категории “родной язык”, то она раскрывалась как первый язык, на котором обычно происходило общение в семье в течение раннего детства. В 2001 г. на Украине были вопросы “этническое происхождение” и “языковые признаки”, но практическое исполнение переписи требует особых комментариев, как и эстонская и латвийская переписи.

В СССР после введения категории “национальность”, казалось бы, отпала необходимость выяснять, какой язык опрашиваемый считает для себя родным. Действительно, от вопроса о родном языке как признаке идентичности (самосознания) решили отказаться, но сам вопрос был сохранен и наполнен другим содержанием. Это же понятие родного языка как основного языка, которым человек лучше всего владеет и на котором обыкновенно говорит, было зафиксировано в науке. С.И. Ожегов в “Словаре русского языка” пишет: “Родной язык – язык своей родины, на котором говорят с детства”. Казалось, было ясно, что вопрос о родном языке не есть дополнительный вопрос о самосознании, а есть вопрос о выяснении языковой ситуации, т.е. об основном языке, на

котором говорит и которым пользуется советский гражданин. Это, кстати, совпадало с последующими международными нормами, которые настойчиво предостерегали от жесткой связи основного (родного) языка индивида с языком его национальности.

Хотя последующие формулировки вопроса о языке во всех советских переписях, казалось бы, не отличались от формулировки 1926 г. (см. табл. 1), однако инструкции и самое главное – общественная практика изменили ситуацию. С переписи 1939 г. и до переписи 1989 г. произошел возврат к пониманию родного языка как индикатора национальности или как одного из вариантов своего рода “языковой идентичности” или “языковой принадлежности”. Вопрос, что опрашиваемый *считает* родным языком, содержал только одно разъяснение: “ответ может не совпадать с национальностью опрашиваемого”. Фундаментальный смысл языкового вопроса в переписи о *владении и использовании* был ликвидирован. Произошло это скорее всего от слабой компетенции организаторов переписи 1939 г., но эта некомпетентность сохранялась 50 лет, включая перепись 1989 г.!

Что произошло при подготовке переписи 2002 г.? Форма вопросника, который был мною получен в ноябре 2001 г. на международном симпозиуме в Российской академии государственной службы (РАГС) содержала формулировки, повторявшие перепись 1989 г. (см. табл. 2, вариант 1). К вопроснику уже имелся проект методических рекомендаций, которые в части языковых вопросов носили чрезвычайно запутанный характер. Это означало, что Госкомстат решил не закреплять эксперимент 1994 г., видимо, встретившись с некоторыми трудностями при обработке и интерпретации данных. Такое решение ведомства было воспринято Институтом этнологии и антропологии и мною лично как неизбежность, тем более, что коллеги-лингвисты не инициировали необходимость нововведений. Мне представлялось, что стране и науке придется еще десять лет жить с этими данными, но зато будет сохранена преемственность с предыдущими переписями. Тем не менее, мною были подготовлены критические замечания и рекомендации, которые с некоторыми изменениями вошли в вышеупомянутое письмо вице-президента РАН А.Д. Некипелова в Госкомстат.

По вопросам о языке суть критики была следующей (далее извлечение из текста моего письма А.Д. Некипелову):

«Вопросы 11, 12, 13 сформулированы неудачно и ничего, кроме искаженных и идеологически перегруженных данных, не дадут в результате переписи. Вопрос 11 “Ваш родной язык” обычно понимается населением как язык своей национальности и на протяжении десятилетий советские переписи этим вопросом фактически только “перепроверяли” вопрос об этниче-

*Таблица 1. Формула и разъяснения по родному языку
в отечественных переписях*

Год	Вопрос	Разъяснение
1897	Родной язык	Язык, который каждый считает для себя родным.
1926	"_"	Родным языком признается тот, которым опрашиваемый лучше всего владеет или на котором обыкновенно говорит.
1939	"_"	Записывается название языка, который сам опрашиваемый считает своим родным... Родной язык может не совпадать с национальностью.
1959	"_"	Язык, который сам опрашиваемый считает своим родным языком. Если опрашиваемый затрудняется назвать какой-либо язык родным языком, следует записать название языка, которым опрашиваемый лучше всего владеет или которым обычно пользуется в семье... Родной язык может не совпадать с национальностью.
1970	Родной язык. Указать также другой язык народов СССР, которым свободно владеете.	Язык, который сам опрашиваемый считает своим родным языком. Если опрашиваемый затрудняется назвать какой-либо язык родным языком, следует записывать название языка, которым он лучше владеет или которым обычно пользуется в семье. Родной язык детей, еще не умеющих говорить, и других малолетних детей определяется родителями. Если родители затрудняются определить родной язык ребенка, следует записать язык, на котором обычно разговаривают в семье... Родной язык может не совпадать с национальностью. После записи родного языка в верхней строке лицам, свободно владеющим другим языком народов СССР (т.е. умеющим свободно разговаривать на этом языке), записать в нижней строке, каким (русским, украинским и т.п.) языком опрашиваемый еще владеет. Если опрашиваемый, кроме родного, свободно владеет еще двумя и более языками народов СССР, то следует записать только тот из них, которым он лучше

Таблица 1 (окончание)

Год	Вопрос	Разъяснение
		владеет. Лицам, не владеющим свободно другим языком народов СССР, а также детям, еще не умеющим говорить, в верхней строке записывается родной язык, а в нижней записывается "нет".
1979	"_"	Язык, который сам опрашиваемый считает своим родным языком. Родной язык может не совпадать с национальностью.... (Далее как в переписи 1970 г.)
1989	"_"	То же разъяснение, кроме раскрытия понятия "свободного владения" (читать, писать и свободно разговаривать)

ском (национальном) самосознании, а не отражали реальную языковую ситуацию в стране. Так, например, в переписи 1989 года 90% башкир объявили родным языком башкирский язык, но только 54% могли читать и писать по-башкирски; 85% калмыков записали родным калмыцкий язык, но реально его знали только 37% калмыков. Еще более сильный разрыв между заявленным в переписи и реальной языковой ситуацией был среди карел, удмуртов и представителей других нерусских народов.

В переписи 2002 г. повторится та же самая картина, когда несколько миллионов жителей страны укажут себе и своим детям как "родной язык" один из нерусских языков именно из соображений привычки или этнической заангажированности, но на самом деле их основным, первым выученным и языком домашнего общения (именно так в общемировой практике раскрывается понятие родного языка, а не по принципу крови) является русский язык. Как и в советских переписях, степень реального распространения русского языка будет радикально занижена, а степень распространения других языков как "родных" будет завышена.

Такого рода неадекватные данные уже сыграли свою отрицательную роль сразу после распада СССР, когда сильно заниженные цифры о распространении русского языка как основного языка населения бывших союзных республик усилили аргументы крайних националистов в отказе предоставить официальный статус языку, на котором реально говорит большинство населения ряда новых государств. В России данная неточная формулировка также занизит реальное распространение русского языка как основного языка населения и завысит данные о распространении нерусских языков. На этих данных невозможно построить адекватную информационно-образовательную политику и систему государственного управления, а также адекватную этнокультурную политику. Зато эти данные будут использованы для завышенных требований националистически настроенных активистов и представителей региональных властей, которые часто находятся в противоречии с частными стратегиями людей, осо-

бенно с заинтересованностью родителей в свободном владении их детьми русским языком. Для адекватной политики, в том числе и для осуществления мер в поддержку нерусских языков, важно знать реальную языковую ситуацию, в том числе и прежде всего реальную степень распространения русского языка в России.

Вопрос 12 “Владеете ли Вы свободно русским языком?” для современной России носит несостоятельный характер по ряду причин. Во-первых, на него будут отвечать не более 10–15% населения страны, ибо даже при завышенных для нерусских языков данных 85–90% населения укажут родным русский язык и поэтому отвечать на вопрос 12 они не должны. Тогда зачем такой вопрос в переписи, если подавляющее большинство опрашиваемых жителей на него не должны отвечать? Для подобного вопроса имелись основания в переписях населения СССР, где примерно 20 миллионов человек главным образом в Средней Азии действительно не знали русского языка. Сейчас в России специалисты (этнографы вместе с лингвистами и местными работниками образования) могут достаточно точно указать те некоторые отдаленные места и очень небольшие категории населения, где и которые не знают русского языка. Зачем тратить огромные средства, чтобы собирать эти редкие, но вполне известные данные? Эти же данные могут быть получены через другую и более содержательную формулировку вопроса.

Вопрос 13 “Другой язык, которым Вы свободно владеете?” перешел из советских переписей с маленькой правкой (после слова “язык” убраны слова “народов СССР”), которая сделала этот вопрос бессмысленным. Рекомендации для переписчиков, а значит, и для опрашиваемых понять абсолютно невозможно и даже нет смысла их здесь комментировать. Но главная уязвимость этого вопроса в том, что им делается попытка ввести особые для проживающих на территории этно-территориальных автономий (республик, автономных области и округов) принципы фиксации языковой ситуации. Этим нарушается принцип равнозначности вопросов для всей территории страны. Почти наверняка ответы на эти вопросы будут представлять собой сплошную путаницу и станут предметом поверхностных оценок и спекуляций.

В итоге наше предложение сводится к тому, чтобы заменить вопросы 11, 12, 13 на новые вопросы с учетом, как они были сформулированы в промежуточной переписи 1994 года, как они сформулированы в переписях других постсоветских государств и как они рекомендуются ООН, т.е. спросить: а) родной или первый выученный язык, знание которого сохраняется; б) основной язык домашнего общения; в) язык общения на работе. Вопросы об языке должны предшествовать вопросу об этнической (национальной) принадлежности. Напомню также, какая была формулировка в 1994 г.: а) родной язык; б) другой язык, которым свободно владеете; в) язык, которым преимущественно пользуетесь»⁴¹.

Предложения от РАН (письмо А.Д. Некипелова) рассматривались в Госкомстате, но не были учтены, хотя оказали некоторое воздействие в сторону поиска улучшения формулировки. Какая-то работа над языковыми вопросами шла, и в итоге на заседании Государственной комиссии по проведению переписи насе-

ления 28 апреля 2002 г. была роздана форма вопросника, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2002 г. за подписью М.М. Касьянова, которая содержала другие формулировки языковых вопросов (см. табл. 2, вариант 2). Эта форма вопросника была даже опубликована в “Российской газете” в качестве официального документа за день до заседания комиссии. Поспешность была вызвана тем, что в заседании комиссии принял участие президент В.В. Путин.

Член комиссии А.Г. Вишневский предложил мне сразу же после заседания комиссии обсудить вопрос о новом варианте вопросника. Его возражения вызвали также изменения, касающиеся анонимности переписного листа, устранение термина “домохозяйство”, устранение категории “разведен”. На следующий день на квартире Вишневого нами было написано письмо В.В. Путину и передано адресату через его помощника А.Н. Илларионова. В этом письме мы писали о том, что одобренный правительством без обсуждения Государственной комиссией последний вариант вопросника привел, по нашему мнению, к ухудшенному варианту основного документа переписи. Мы отметили, что наибольшие возражения вызывают поправки в вопросе о языке.

Прочитую эту часть письма:

«Появился непонятный вопрос: “Владеете ли Вы свободно родным языком?” Под “родным языком” во всех отечественных переписях, начиная с 1897 года, всегда понимался основной разговорный язык человека. В некоторых случаях (при переписи 1926 года) давалось разъяснение: “родным языком признается тот, которым опрашиваемый лучше всего владеет или на котором обыкновенно говорит”. Так же понимается “родной язык” и в общих словарях (например, С.И. Ожегов “Словарь русского языка”: “родной язык – язык своей родины, на котором говорят с детства”).

Как же можно не владеть свободно родным языком?

Это возможно лишь в случае, если понятие “родной язык” связывается не с языковой практикой, а с иными критериями, например, этническим самосознанием. Но свое этническое самосознание человек выражает, отвечая на вопрос о национальности, а когда речь идет о языке, важна реальная языковая практика. В России в 1989 году из 27 миллионов нерусских жителей 7,5 миллиона назвали родным русский язык. Они не могли бы назвать и не стали бы называть русский своим родным языком, если бы не владели им более свободно, чем любым другим, и если бы не понимали, что именно об этом идет речь.

Новая формулировка вопроса приведет к явному преуменьшению степени распространения русскоязычия в России. Она дает понять родившемуся в Москве и русскоязычному армянину, башкиру или таджику, что его родной язык – не русский, а какой-то другой, которым он может даже не владеть – а все равно родной – и его и надо называть. Новая редакция вопроса о родном языке призывает дублировать ответ о национальной принадлежности и не позволяет получить достоверную информацию об языковой

ситуации в стране, без чего невозможно осуществлять адекватную образовательную и культурно-информационную политику. Зато этот вопрос стимулирует этнонационалистические установки, вносит новые разделительные линии в общество, что не отвечает национальным интересам России.

Мы убеждены, что перечисленные изменения – контрпродуктивны. Учитывая необходимость срочного тиражирования переписных листов, единственная возможность выправить положение – это вернуться к предыдущей редакции. Но сейчас повлиять на ситуацию можете только Вы»⁴².

8 мая состоялась встреча А.Г. Вишневого и еще нескольких демографов с президентом Путиным, где обсуждался и этот вопрос, помимо вопросов о демографической ситуации в стране. Путин воспринял аргументы нашего письма и дал указание внести изменения в вопросник, хотя уже началось его тиражирование. Эти изменения были со мною обсуждены по телефону министром В.Ю. Зориным и помощником президента РФ А.Н. Илларионовым по их инициативе. В конечном виде был напечатан окончательный вариант вопросника, в котором вопросы об языке подверглись радикальному (я бы сказал – революционному) изменению (см. табл. 2, вариант 3). Впервые из отечественных переписей ушел вопрос о родном языке! Впервые оба языковых вопроса спрашивали о владении языком! Впервые в ответе на владение нерусским языком можно было записать до трех ответов!

При наличии вопроса о национальности этот последний вариант предоставлял уникальную возможность выяснить владение или не владение опрашиваемым языка своей национальности, а также других языков, кроме русского. Для таких многоязычных регионов, как Северный Кавказ и Поволжье, с помощью этих данных можно было выяснить степень и характер многоязычия в этих регионах. На мой взгляд, даже при устранении привычной категории “родной язык”, этот вариант давал гораздо больше возможностей выяснить языковую ситуацию в стране, в том числе и степень сохранности языков нерусских национальностей и степень их языковой ассимиляции. Однако судьба этого окончательного варианта сложилась драматически. Поскольку не было должных публичных объяснений данного изменения и тех возможностей, которые дает данная формулировка, первой реакцией со стороны националистических сил и нерусской интеллигенции было недовольство и даже возмущение по поводу “отмены родного языка”. Решающий вклад внесли некоторые российские социолингвисты, которые не приняли данную новацию и выступили с резко эмоциональными статьями в прессе, содержащими не столько аргументы, сколько политические обвинения и провокационные заявления по поводу “дерзкого вызова народам России”.

Таблица 2. Варианты переписного листа 2002 г. по вопросу о языке

Варианты			
0	1	2	3
(утвержден Госкомстатом 27.03.2000 г.)	(до 20.04.02 г.)	(утвержден 20.04.02 г.)	(последний, утвержден 20.04.02 г.)
5. Ваш родной язык (укажите название)	11. Ваш родной язык а) если русский – проставить метку б) если не русский – записать название	9. Владение языками 9.1. Ваш родной язык а) если русский, проставить метку б) если не русский, записать название	9. Владение языками 9.1. Владеете ли Вы русским языком? да нет
6. Другие языки, которыми Вы свободно владеете. Если родной язык не русский, то укажите, владеете ли Вы свободно русским языком	12. Владеете ли Вы свободно русским языком?	9.2. Владеете ли Вы свободно: а) родным языком, если родной не русский б) русским языком	9.2. Какими иными языками Вы владеете? три линии для ответа
Укажите другой язык, которым Вы свободно владеете	13. Какими другими языками Вы владеете?	9.3. Другой язык, которым Вы свободно владеете	

Прежде всего я имею в виду статью своего заместителя профессора М.Н. Губогло в “Независимой газете” (22 июля 2002 г.) под названием “Кто отнял родной язык”. В статье содержались все возможные катаклизмы и угрозы стране, которая отказывается от графы о родном языке: “тенденциозное искажение реальной картины этнического и языкового состава”, “катализатор глубокого недовольства”, “лишение возможности выявления динамики трансформационных процессов”, “прерывание связи времен”, “удар по национальному самосознанию народов России”, невозможность “полноценно выразить свою этноязыковую идентичность”, проведение “политики этнической и языковой дискриминации”, “первый шаг на пути этноцида”, “способ разрушения менталитета” народа, “неизбежные трения между республиками и Центром”. Наконец, автор пригрозил историческими катаклизмами, какие были в Приднестровье и Абхазии. Свою статью

М.Н. Губогло заключал так: «Нынешний произвол чиновников, как ни парадоксально, основывается на высоком рейтинге президента Путина. Однако беззастенчиво действуя от его имени, они бросают дерзкий вызов народам России, угрожают авторитету президента, нарушая подписанный им Закон “О Всероссийской переписи населения” с обязательной регистрацией родного языка граждан России».

Если говорить о научных аргументах, то М.Н. Губогло свел их к положению, что во всех советских переписях, “как и во многих странах мира, этническая (национальная) принадлежность человека записывалась с помощью двух взаимосвязанных индикаторов: национальной и языковой принадлежности”. Как было в советских переписях, мы уже объяснили, но в переписях других стран мира таковой практики никогда не существовало, как и не существует в науке понятия “языковая принадлежность”. Однако набор жестких обвинений и пугающих угроз сам по себе не нуждался в научных аргументах. Статья сразу же была использована крайними этнонационалистами для акций протеста. В Татарстане, где она была перепечатана в двух местных газетах, началась шумная кампания вплоть до требования отвечать “нет” на вопрос о знании родного языка и провести свою собственную перепись, где бы татары могли записать свой язык не в унижительной графе “иные языки”⁴³. За возврат “родного языка” выступили лидеры федеральных национально-культурных автономий на встрече с министром В.Ю. Зориным, и он был вынужден пообещать учесть это требование.

Я спрашиваю себя, почему я не выступил с опровергающей статьей сразу после публикации статьи М.Н. Губогло, чувствуя ее опасный спекулятивный характер. Во-первых, мне не хотелось устраивать публичную полемику с собственным заместителем по данному вопросу. Во-вторых, мне представлялось, что окончательно утвержденная форма вопросника уже печатается в типографиях и новые изменения невозможны. Однако я ошибся. Оказывается под этим новым давлением Госкомстат сделал поправку в инструкцию переписчиков, в которой указал, что в ответе на вопрос 9.1 нужно еще спросить: “Ваш родной язык”, и если это русский, то сделать отметку в специальной клетке внизу страницы, а если нет, тогда записать в первую строку ответа на вопрос 9.2 название языка, который опрашиваемый считает родным. Знает или не знает опрашиваемый этот язык, не имело значения, хотя вопрос 9.2 спрашивал о владении языком.

Что получилось в итоге? Во-первых, многие переписчики следовали вопроснику и не соблюдали инструкцию. Достаточно сказать, что переданные по телевидению кадры переписывания

семьи президента показали, что вопрос о родном языке президенту был задан, а его супруге – нет! Во-вторых, в первой строке в ответе на вопрос 9.2 теперь появилось много записей о родном нерусском языке, но без информации о владении и пользовании этим языком. Половинчатое и поспешное отступление на старые позиции испортило переписные данные об языковой ситуации в России. Сделано это было в угоду слепому национализму, для которого важен сам символ родного языка и его совпадения с названием национальности. Остальное – это “этноцид”.

О “СПИСКЕ НАРОДОВ”

Еще к переписи 1970 г. специалисты Института этнографии АН СССР составили список из примерно 800 названий (варианты этнонимов), сгруппированных в 141 “основную национальность”⁴⁴. Итоги переписи были разработаны по 104 национальностям. Позднее, при обсуждении переписи 1989 г., некоторые специалисты считали, что “уменьшение числа народов в стране приобрело катастрофический характер”⁴⁵: со 194 наименований в 1926 г. до 128 в 1989 г. И как объяснить, куда делись почти 70 народов? В ходе этих дискуссий были высказаны некоторые ценные замечания. В частности, резонным было заключение Е.А. Семеновой, что «процесс количественного роста или сокращения включаемых в список этнонимов, постоянное превращение этнонимов из “основных” в “прочие” и “другие” и наоборот, процесс оттачивания списков национальностей и языков, видимо, бесконечны во времени, и следует принять как данность то, что любой, самый совершенный и профессионально составленный список будет лишь приближением к этнической реальности, а не ее точной копией»⁴⁶.

Серьезное воздействие на ход этой дискуссии оказала внешне демократическая, но по сути ортодоксальная позиция М.В. Крюкова – существует некая вне институционализированной этничности (т.е. “закрытого” списка народов) сложная таксономическая иерархия этносов трех уровней: субэтносы (этнографические группы), этносы и метаэтнические общности. По его мнению, открытая фиксация всех без исключения самоназваний (причем на родном языке!) в переписи должна сопровождаться после переписи анализом этого максимально полного списка этнонимов, который можно “скорректировать лексико-статистическим анализом и результатами эндогамных барьеров, разделяющих этносы”. Только так можно “подойти к созданию научно обоснованной таксономической классификации народов СССР”⁴⁷.

Представляется важным заключение о проекте “Списка народов СССР”, сделанное С.В. Соколовским в ходе данной дискуссии после переписи 1989 г. При составлении “модели этнической реальности” им предлагалось делать учет «процессуального характера этничности, многоуровневости и многокомпонентности форм этнической идентификации, зависимости процедур определения собственной национальности от различных факторов социально-политического и историко-культурного характера. Такая модель противостоит “этническому реализму” и приводит к пониманию условности и функциональной ограниченности любого “списка” этнических общностей... Несовместимость бытующей в стране практики учета населения по этническим признакам с демократическими принципами организации жизни общества обусловили разработку концепции “открытого списка”. Сутью концепции является предоставление личности права выбора любого этнонима для самоидентификации (а не только официально признаваемого) и возможность отказа от идентификации по этническому принципу. Концепция позволяет учесть динамический характер этничности, многоуровневость этнического самосознания, известную подвижность и условность границ между этническими категориями населения»⁴⁸.

Однако к новой переписи Госкомстат еще в 1999 г. подготовил свой вариант списка национальностей и языков для переписи 2002 г., который был прислан на отзыв в ИЭА РАН в январе 2000 г. За малыми исключениями, он ничем не отличался от списка предыдущей переписи 1989 г. После критического отзыва на эти документы со стороны института⁴⁹. Госкомстат принял почти все предложения относительно новой структуры и нового содержания методических документов по вопросам национальности и языка. В ряде моментов сотрудники ведомства внесли свои ценные коррективы. Трудности и драма Госкомстата и академии заключались в другом – в сложности самого вопроса о списке народов, во внешних политических воздействиях и в неспособности (или невозможности) солидарно противостоять этому воздействию.

На самом деле вопрос о списке (списках) достаточно прост в смысле понимания разницы между перечнем возможных самоназваний и списком этнических групп (национальностей), хотя следует признать, что многие государственные чиновники, политики и журналисты до самого последнего момента так и не смогли понять эту разницу, каждый раз говоря, что в стране может зарегистрироваться около 800 народов и разных групп. Это понимание сохранилось отчасти и после переписи, ибо Госкомстат

заявил о готовности кодировать все встречающиеся самоназвания. На самом же деле еще с переписи 1926 г. существует и каждый раз обновляется составляемый этнографами список возможных этнических самоназваний, которые могут встретиться переписчику во время опроса. Если не брать эпатажно-игровые самоназвания (*эльфы, скифы, толкинисты* и т.п.), то этот список главным образом отражает местные языковые и другие варианты самоназваний, которые достаточно хорошо известны специалистам. Такие списки на 800–900 вариантов самоназваний составляются как методическое пособие для обработки результатов переписи.

Есть другой список – перечень национальностей, который используется для кодировки агрегированных данных и который, конечно, связан с первым списком. В этом списке указывается “правильное” (более употребительное и известное, а также общепринятое на данный момент в науке) название национальности, которая подразумевается тем или иным вариантом самоназваний. Все самоназвания должны быть сведены к этому “основному” списку или к “перечню основных национальностей”, как он называется уже при публикации материалов переписи. Между двумя перечнями (списками) существует скрытая динамика, которую понять гораздо сложнее. *Во-первых*, далеко не все самоназвания (или просто названия) есть языковые и местные варианты обозначения одной и той же группы. Часть названий обозначает этнокультурную идентификацию, которая вполне может рассматриваться как обозначение отдельной этнической общности или как одна из форм сложной (горизонтальной и вертикальной) идентификации. *Во-вторых*, часть названий когда-то уже присутствовала в переписи и исчезла из нее по ряду причин, в том числе и в силу ассимиляционных процессов и ассимиляционистских установок организаторов предыдущих переписей. *В-третьих*, есть названия, которые могут “кочевать” от одного списка к другому в силу господствующего (предпочтительного) названия группы в данный исторический момент (горские евреи – таты, лопари – саамы, или инуиты – эскимосы) или в результате принятых общественностью научных перекалификаций.

Вокруг вопроса о месте во втором списке в советское время всегда шла политическая борьба, ибо это было связано с официальным признанием этнической общности как “нации”, “коренного народа” или “национальности”. Здесь постоянно сталкиваются две тенденции. Одна – это “укрупнение” народов за счет включения в их состав малых культурно-близких групп и тем самым уменьшение общей численности народов (“наций”, “этно-

сов” и т.п.). В политическом плане – это ассимиляционистская или интеграционистская линия, т.е политика отрицания. Ее сторонниками выступают самые разные силы: государство, представители доминирующей культуры, идеологические “патриоты”, “шовинисты”, “национальные нигилисты”, политические деятели и общественные активисты, строящие свою деятельность на гражданских и других внеэтнических принципах, часть научного сообщества. Вторая тенденция – это конструирование наций и народностей на основе этнических партикулярностей и легитимация низовых требований о групповом признании с целью воссоздания “подлинной” и “полной” номенклатуры этнических общностей. Выразителями этой тенденции выступают большинство этнографов, так называемая национальная интеллигенция и активисты этнических меньшинств, часть либерального политического спектра, правозащитники и международные структуры по защите национальных меньшинств.

Оба видения находятся в рамках одной парадигмы и почти всегда пребывают в жесткой конфронтации по поводу номенклатуры групп, которую должна зафиксировать перепись. С точки зрения государственного строительства и управления многоэтническим обществом в современной России возможны две стратегии. Одна, которой придерживается большинство государств мира, – это не поощрять этнический партикуляризм и не создавать через процедуру переписи дополнительную политическую легитимность для групповых коалиций в ущерб национальной интеграции и гражданских основ организации общества. Другая – это поощрение этнического партикуляризма через максимально возможный “открытый список” и через признание многообразия форм этнической идентичности, в том числе и через фиксацию ее множественной природы, включая “вертикальную” и “горизонтальную” таксономию групп. Первый подход включает в себе постоянный риск низовых жалоб и межгрупповых споров за членство, статус и названия, но он позволяет государству строить отношения с фиксированными группами и их структурами, хотя и мешает утверждению примата гражданской идентичности. Второй подход включает в себе риск хаотического роста групповых коалиций на этнической основе в условиях, если в государстве сохраняется смысл этнических коалиций для обеспечения доступа к власти и ресурсам. Но при последовательном проведении данной стратегии есть возможность через признание этнической мозаики и ее сложности снизить саму значимость групп в социальной жизни и в политике, т.е. растворить амбиции высокостатусных групп на обладание исключительным положением.

По-настоящему российская власть до сих пор не понимает суть и значимость данной дилеммы, а в контексте переписи она вообще не обсуждалась. Есть только смутная интуиция “что хорошо и что плохо” может быть для государства, но и эта интуиция зависит от идеологических и бытовых взглядов политиков и чиновников, а не от профессионального и рационалистического понимания проблемы. В переписи 2002 г. государство и наука так и не смогли определиться по данному вопросу, полагая, что главная задача – это объективный учет и получение ответа на вопрос “сколько народов живет в России”. Отечественная наука в этом вопросе не сделала шаг вперед и в целом озабочена тем же самым вопросом, как это было и в предыдущих переписях: установить номенклатуру этнического состава населения, поделив его на группы. Если бы ученые-этнологи лучше поняли символическую природу этнического и не воспринимали категорию “этнос” в столь фундаментальном смысле, как, например, воспринимается категория “танатос” (смерть), тогда за ними могли бы последовать и российские политики, расширив свои возможности управления этой сферой так же через символичные действия. Но, увы, этого не произошло. Вместо этого получились драматизированные и бесплодные дебаты, которые радикальной перемены в процедуру переписи 2002 г. не принесли. В России опять переписывались “народы”, а не “идентичности” в рамках одного российского народа. Тем самым российская перепись населения 2002 г. не выполнила свою основную миссию – создать народ для государства.

¹ Количественные методы в советской и американской историографии // Материалы советско-американских симпозиумов в г. Балтиморе, 1979 г. и г. Таллине, 1981 г. / Отв. ред. И.Д. Ковальченко и В.А. Тишков. М., 1983; Аграрная эволюция России и США в XIX – начале XX века // Материалы советско-американских симпозиумов / Отв. ред. И.Д. Ковальченко и В.А. Тишков. М., 1991.

² См.: *Тишков В.А.* История и историки в США. М., 1985.

³ Одно из самых обстоятельных исследований в области социальной истории России с использованием данных переписи 1897 г. см.: *Мионов Б.Н.* Социальная история России: В 2 т. СПб., 2000.

⁴ *Anderson B.* Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. L., 1983.

⁵ *Соколовский С.В.* Образы других в российской науке, политике и праве. М., 2001; *Cadiot J.* Organizer la diversite: la fixation des categories nationales dans l'Empire de Russie et en URSS (1897–1939) // *Revue d'Etudes Comparatives Est-Ouest.* 2000. № 3; *Idem.* Qu'est-ce que la nationalite? // *L'invention des populations* / Ed. H. Le Bras. P., 2000. P. 107–124; *Idem.* Les relations entre le center et les regions en URSS a travers les debats sur les nationalites dans le

- resensement de 1926 // *Cagiers du Monde Russe*. 1997. Oct.–Dec. Vol. 38. № 4. P. 601–616; *Hirsch F.* The Soviet Union as a Work-in-Progress: Ethnographers and the Category of Nationality in the 1926, 1937, and 1939 Censuses // *Slavic Review*. 1997. Vol. 56. № 2. P. 251–278.
- ⁶ *Census and Identity. The Politics of Race, Ethnicity, and Language in National Censuses* / Ed. D.I. Kertzer & D. Arel. Cambridge, 2002.
- ⁷ Мои заметки на совещании 29 апреля 2002 г. Москва, Дом правительства.
- ⁸ См., например: *Крюков М.В.* Этнические процессы в СССР и некоторые аспекты Всесоюзных переписей населения // Советская этнография. 1989. № 2 (Далее: СЭ), а также: Подходы к изучению этнической идентификации: Сб. статей / Отв. ред. Э.А. Чамокова. М., 1994.
- ⁹ *Крюков М.В.* Указ. соч. С. 33.
- ¹⁰ Мнение российских антропологов по этому вопросу см.: Проблема расы в российской физической антропологии / Ред. Т.И. Алексеева, Л.Т. Яблонский. М., 2002.
- ¹¹ *Harvey Ch.* Statistics and Politics: The Hispanic Issue in the 1980 Census // *Demography*. 1986. Vol. 23. P. 403–418.
- ¹² Об итогах этой переписи и анализ ее результатов для понимания этнодемографической ситуации в США см.: *Liebersohn S. & Waters M.* From Many Strands. Ethnic and Racial Groups in Contemporary America. N.Y., 1988.
- ¹³ См.: *Воробьев Н.Я.* Всесоюзная перепись населения 1926 года. 2-е изд. М., 1957; *Крюков М.В.* Указ. соч. Подходы к изучению этнической идентификации: Сб. статей / Отв. ред. Э.А. Чамокова. М., 1994; Перепись – 2002: Проблемы и суждения // Исследования по прикладной и неотложной этнологии. М., 2000. № 132.
- ¹⁴ *Семенова Е.А.* Этническая информация в переписях населения // Этнокогнитология. Вып. 1. Подходы к изучению этнической идентификации / Под ред. Э.А. Чамоковой. М., 1994. С. 81–82.
- ¹⁵ Там же. С. 81.
- ¹⁶ Уже сама формулировка вопроса вкладывала в него разные смыслы для граждан России и для иностранцев: Вопрос 4. “Народность. Для иностранцев, какого государства подданный”, а в инструкции для переписчиков пояснялось, что “перепись имеет целью определить племенной (этнографический) состав населения” и “не следует заменять народность религией, подданством, гражданством или признаком проживания на территории какой-либо республики”.
- ¹⁷ На этот счет см. мои многочисленные высказывания в книгах: *Тихонов В.А.* Очерки теории и политики этничности в России. М., 1997; *Он же.* Этнология и политика. М., 2001.
- ¹⁸ См.: Перепись – 2002: Проблемы и суждения.
- ¹⁹ Такие комиссии имели исключительное значение в период первых советских переписей. Фактически именно Комиссия по определению племенного состава населения России, в которой главную роль играли ведущие в тот момент этнографы, составила номенклатуру народов для переписи 1926 г.
- ²⁰ *Anderson B.* Op. cit. P. 184.
- ²¹ *Appadurai A.* Number in the Colonial Imagination // *Orientalism and the Postcolonial Predicament* / Ed. A.C. Breckenridge & P. van der Veer. Philadelphia, 1993. P. 332.

- ²² The Politics of Numbers / Ed. P. Starr. N.Y., 1987. P. 12–13.
- ²³ *Миронов Б.Н.* Указ. соч. Т. 1. С. 22, 25.
- ²⁴ *Брук С.И., Кабузан В.М.* Динамика численности и расселение русского этноса (1678–1917 гг.) // СЭ. 1982. № 4; *Кабузан В.М.* Русские в мире: формирование этнических и полиэтнических границ русского этноса. СПб., 1996, и другие работы этих авторов.
- ²⁵ Нелишне узнать из источника (Беседа В.А. Тишкова с С.И. Бруком) // ЭО. 1995. № 1. С. 89–101.
- ²⁶ Подробнее см.: Народы России: Энциклопедия / Гл. ред. В.А. Тишков. М., 1994. С. 53–65.
- ²⁷ *Petersen W.* Ethnicity Counts. New Brunswick. 1987. P. 219.
- ²⁸ *Патканов С.К.* Проект составления племенной карты России // Живая старина. 1924. Т. 24. № 3. С. 217–244.
- ²⁹ Об этом см.: Мультикультурализм в трансформирующихся обществах / Под ред. В.С. Малахова и В.А. Тишкова. М., 2002; *Тишков В.А.* После многонациональности: Культурная мозаика и этническая политика в России // Знамя. 2003. № 3.
- ³⁰ *Prewitt K.* Census 2000. As a nation, we are the world // Carnegie Reporter. 2001. Vol. 1. № 3. P. 4.
- ³¹ Ibid.
- ³² Ibid. P. 9.
- ³³ См.: Международный симпозиум: Перепись населения – XXI век: Опыт, проблемы, перспективы. 27–28 ноября 2001 г. М., 2001.
- ³⁴ *Нерознак В.П.* Языковая ситуация в России: 1991–2001 годы // Государственные и титульные языки России: Энциклопедический словарь-справочник / Гл. редактор В.П. Нерознак. М., 2002. С. 5–6. См. также: *Нерознак В.П.* Языковая реформа (1990–1995) // Вестник РАН. 1996. Т. 66. № 1. С. 3–7.
- ³⁵ *Нерознак В.П.* Языковая ситуация... С. 6.
- ³⁶ *Губогло М.Н.* Языки этнической мобилизации. М., 1998. С. 391; Собрание законов о языках советских республик см. в кн.: Переломные годы. Т. 2. Языковая реформа – 1989 / Сост. и отв. ред. М.Н. Губогло. М., 1994; Тексты языковых законов российских республик см.: Государственные и титульные языки России...
- ³⁷ *Губогло М.Н.* Указ. соч. С. 14.
- ³⁸ *Алпатов В.М.* 150 языков и политика: Социолингвистические проблемы СССР и постсоветского пространства. М., 2000; *Вахтин Н.Б.* Языки народов Севера в XX веке: Очерки языкового сдвига. СПб., 2001.
- ³⁹ *Губогло М.* Кто отнял родной язык: Накануне переписи российское чиновничество лишило народы России права зафиксировать языковую принадлежность // Независимая газета. 2002. 22 июля.
- ⁴⁰ Обзор мирового опыта этого вопроса был сделан Д. Арелем: *Arel D.* Language categories in censuses: backward- or forward-looking? // Census and Identity. The Politics of Race, Ethnicity, and Language in National Censuses / Ed. D. Kertzer & D. Arel. Cambridge, 2002.
- ⁴¹ Архив автора.
- ⁴² Там же.
- ⁴³ *Бронштейн Б.* На время переписи татары могут забыть русский язык // Новая газета. 2002. 11–13 окт.

- ⁴⁴ Брук С.И., Козлов В.И. Этнографическая наука и перепись населения 1970 г. // СЭ. 1967. № 6. С. 10–11.
- ⁴⁵ Чамокова Э.А., Филимонова Л.В. Правовые этнические проблемы и инструментальные задачи переписи // Этнокогнитология. Вып. 1. С. 94.
- ⁴⁶ Семенова Е.А. Указ. соч. С. 90.
- ⁴⁷ Крюков М.В. Этнические процессы в СССР и некоторые аспекты все-союзных переписей населения // СЭ. 1989. № 2. С. 33.
- ⁴⁸ Соколовский С.В. Заключение (о проекте “Список народов СССР”: итоги и перспективы исследования) // Этнокогнитология. Вып. 1. С. 109–110.
- ⁴⁹ Текст отзыва см.: Соколовский С.В. Указ. соч. С. 185–192.

Глава VI

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МНОГОКУЛЬТУРНОСТИ

В России и в других странах бывшего СССР ученые и политики все чаще высказываются на тему о *многокультурности* (мультикультурализме). Что-то похожее в словесной форме *поликультурность* также появилось в обилии среди исследователей и практических работников в сфере образования. В сотрудничестве с философом В.С. Малаховым мною в 1999 г. была организована научная конференция на эту тему и подготовлен сборник статей, в котором опубликован первый вариант текста данной главы под таким же названием¹. С тех пор вышло несколько новых работ на эту тему, в том числе интересные статьи в журнале “Неприкосновенный запас” (2002, № 5), а также многочисленные публикации в зарубежных изданиях. В этой главе я попытаюсь сформулировать концептуальные подходы к проблеме многокультурности, определить ее теоретический и политический смыслы, в том числе и для российской ситуации. В отличие от предыдущих глав, где я почти не привлекал свои давние материалы по изучению Канады, этот анализ делается прежде всего в сравнительном плане, ибо моя первая встреча с многокультурностью как с доктриной и с общественной практикой приходится на канадский опыт 1970-х годов, который вполне сравним с современным российским контекстом. Невозможно обойти стороной и фундаментальную проблему культурной относительности (или культурного релятивизма), которая пронизывала мировую антропологическую мысль на протяжении долгого времени и которая в определенной мере просматривается за концептом многокультурности.

В моих текстах стал уже почти заклинанием тезис, что *общества отличаются друг от друга не столько самим фактом этнического разнообразия, сколько тем, какое значение придается данному разнообразию и какая политика выстраивается по отношению к этой стороне жизни людей*. При этом решающую роль играют наука и идеология, которые основываются на теориях и концептах. Последние, в свою очередь, выражаются через слова-дефиниции, составляющие общественную терминологию.

Терминологическая субстанция включает употребление слов как значимых категорий в различных сферах общественно-политического и академического дискурса, включая язык официальных текстов – от положений Конституции и законов до формулировки вопросника переписи населения. Причем на данном уровне нет смысла делать различия между *понятием* и *термином*, тем более, что одержимость дефинициями есть проявление слабой методологии.

Бытовая сентенция “как научили, так и говорим” подходит не только к истории личностного освоения языка или к повседневному групповому словоупотреблению, но и к более строгим сферам, где иногда кажется, что понятия и термины носят фундаментальный характер слов-демиургов, например, таких, как понятия “многонациональность” и “национальная политика”. Их употребление почти сакрально, и кажется, что никак не может быть подвергнуто сомнению пишущим или говорящим из числа ученых и политиков. В то же само время судьба данных дефиниций довольно причудлива и драматична, хотя причудливость порой не осознается, а драма далеко не всегда переживается.

Приведу один пример применительно к отечественному опыту, который касается доминирующей групповой категории *национальность* не как гражданство, а как принадлежность к этносу. Во время подготовки переписи населения 2002 г. была рекомендована Госкомстату России новая формулировка переписного вопроса, касающегося этнической идентификации: “Ваша национальная (этническая) принадлежность”. Это было предложено вместо принятого Госкомстатом на тот момент варианта (тоже, кстати, по рекомендации этнологов): “К какой национальности (народу) или этнической группе Вы принадлежите”. Суть этого предложения заключалась в уточнении этнического смысла понятия “национальность”, чтобы иметь возможность через десять лет, к моменту следующей переписи, ввести вопрос об этнической принадлежности граждан, каковым он и является, или, на худой конец, поменять местами слова “национальная” и “этническая”, и таким образом окончательный переход сделать через двадцать лет.

Уже сама по себе постепенность была уступкой ссылке на якобы глубокую укорененность самого термина “национальность”, его этнического, а не гражданского смысла, а также на восприятие простыми людьми этого термина обыденным, а не предписанным пониманием. «И когда тот же самый исследователь, – пишет один из “философов этноса”, возьмет в руки результаты переписи населения, он должен четко осознавать, что 99,9...% из тех, кто зафиксировал свою принадлежность в графе

“национальность”, руководствовались не кабинетными рассуждениями (которых они в жизни не слышали и не услышат), а вполне (или не вполне) четким и ясным собственным пониманием того, что есть “национальность” – но пониманием безусловно *обыденным*»².

Эта ссылка на обыденное представление о национальности является несостоятельной. Во-первых, подавляющее большинство населения мира, а также уже и часть постсоветских людей, воспринимают вопрос о национальности как вопрос о гражданской принадлежности. В мире мало стран, где бы в ходе переписей людей спрашивали об их этнической принадлежности, ибо получить “четкие и ясные” ответы невозможно. Там, где включают такой вопрос, то вводят уже именованные “клетки”, куда опрашиваемый должен себя расписать, а если не найдет должную клетку, то вписаться в категорию “другие”. Или же в некоторых переписях просят указать этническое происхождение (единичное или множественное). Обычно же этнический состав в других странах определяется учеными и переписчиками по языковым характеристикам.

В нашей стране этнографы и организаторы первых советских переписей натаскивали население несколько десятилетий на то, как нужно правильно отвечать на данный вопрос, но все равно вплоть до самого последнего времени в паспортных столах хранились списки Института этнографии на случаи, когда желающему сделать в пятом пункте необычную запись нужно было сказать sacramентальную фразу: “А такой национальности не бывает!”

В ходе последней переписи именно внешние, преимущественно публично-кабинетные предписания типа “запишись татарин” или “мы – дидойцы” имели очень существенное значение. О том, что 99,9% людей якобы в жизни не слышали и не услышат кабинетные рассуждения по поводу национальности, говорить странно во времена всеобщей грамотности, массовых ментальных манипуляций и этнической мобилизации. Именно начитавшиеся этнографической и исторической литературы активисты или непосредственно сами этнографы выступали во время переписи 1926 г. глашатаями и агитаторами записываться *русскими* вместо более привычных *великороссов*, выдуманнными *алтайцами* вместо *ойротов* или других местных названий, *узбеками* вместо *сартов* или *ташкентцев*. Это происходило 60–80 лет тому назад и, кстати, закончилось успешным рекрутированием “обыденного сознания”. В последние годы такие же кабинетные агитаторы и местные лидеры стали доказывать правильность и выгоду принадлежности не к национальности алтайцев, а к на-

циональности *кумандинцев, челканцев, теленгитов*, не к бурятам, а к *сойотам*, не к корякам, а к *алюторцам*, не к теленгитам или татарам, а к *калмакам*, не к русским, а к *казакам* или *поморам*. Очевидно, что и в этом новом смыслонавязывании кабинетный люд опять вполне преуспел. Причем преуспевать в конструировании (пусть даже в форме возврата некогда существовавших или встречающихся в литературе категорий) этнических идентификаций сегодняшним энтузиастам этого дела гораздо легче. В России сейчас проживает пользующееся телевизорами поголовно грамотное население, и редко кто (может быть, только из числа лесных затворников или бомжей) избежал воздействия теле-, радио и газетных дебатов по поводу того, кем нужно записываться в ходе переписи 2002 г.

О том, что кабинетные рассуждения сегодня слышат многие, могу судить хотя бы по своему имени, которое стало известно через частые газетные упоминания большинству татар Татарстана, особенно после того, как М.Ш. Шаймиев публично пожаловался В.В. Путину во время встречи в Казани 30 августа 2002 г., что “господин Тишков призывает установить национальность крышен и тем самым расколоть единую татарскую нацию”.

Осуществленный в рамках международного научного проекта “Идентичность и язык в российской переписи 2002 года” мониторинг хода переписи в 20 многоэтничных регионах России показал, что запись национальности в ряде из них носила далеко не обыденный характер, а была объявлена делом исторической важности, в том числе и на уровне постановлений высших органов власти республик³. О том, какую национальность нужно записывать некоторым россиянам, Главное управление по делам казачества при администрации Президента РФ, располагающееся в Московском кремле, принимало даже два или три разных решения и каждый раз к носителям “обыденного и собственного понимания” национальности летели горячие призывы и даже жесткие инструкции.

“Национальность” – это далекая от четкого и ясного “собственного понимания” категория идентификации. Подтверждением является и то, что такое же постсоветское население с тем же доктринальным наследием и с той же политической практикой в других государствах бывшего СССР безболезненно переходит на другие смыслы данных понятий. Так, в переписи населения 2001 г. на Украине вопрос о национальности был заменен вопросом об *этническом происхождении*, и, тем не менее, жители этой страны нашли себе место в ответе на этот вопрос. В ряде государств людей все больше переучивают называть национальностью гражданскую принадлежность. Кстати, сходное обучение

для российских граждан проходит в последние годы во время получения зарубежных виз и внешних контактов вообще.

И все же в вопроснике, с которым пришел к россиянам переписчик в октябре 2002 г., стоял старый вопрос: “Ваша национальность” (никакой “этнической принадлежности”!). Аргументом в пользу сохранения неизменной формулировки в вопроснике российской переписи послужила позиция тогдашнего руководителя Правового управления администрации Президента Российской Федерации Л.И. Брычевой, сославшейся на текст принятого в январе 2002 г. федерального закона “О переписи населения Российской Федерации”.

Формальная позиция правовика из администрации президента сохранила за национальностью ее старый смысл со всеми вытекающими из этого последствиями для языка и политики. Одно из таких последствий – это блокирование множественного (сложного) понимания феномена этнической идентичности. Сохранилась установка, что национальность может быть только одна и желательно на всю жизнь без изменений. Другое последствие – это конструирование этнокультурной мозаики России в саморазрушительной форме “многих наций” или сохранение формулы “многонациональности”. Эта формула блокирует утверждение в стране политики мультикультурализма (мне импонирует более близкий к русскому языку термин *многокультурность*) в ее более полном и современном понимании, а точнее, сводит ее все к той же самой многонациональности, только называемой другим словом.

МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ КАК КОНЦЕПТ

Что есть мультикультурализм или многокультурность в ее современном философско-антропологическом смысле, какая произошла эволюция данного понятия и основанной на нем политики, что понимают под ним отечественные словоупотребители и возможен ли мультикультурализм в России? Тем более, что сам термин и его варианты (например, “поликультурность”) уже достаточно широко употребляются в отечественном научном языке и в общественной практике. Один из авторитетных словарей по социологии дает следующее определение: “Мультикультурализм есть признание и утверждение культурного плюрализма в качестве характеристики многих обществ. Мультикультурализм приветствует и стремится защищать культурное разнообразие, как, например, языки меньшинств, и в то же самое время обращает внимание на часто неравные отношения меньшинства с домини-

рующими культурами”⁴. Эта достаточно простая формулировка требует дополнительного осмысления.

Можно выделить три разных уровня или сферы применения данной дефиниции. Это уровень демографического или дескриптивного использования, когда данным словом определяются общества, имеющие сложный этнодемографический состав. Последние часто называются полиэтничными или мультикультурными. Это идеологическая или нормативная сфера, где определяются концепты и установки, что есть мультикультурализм, помимо простого признания существования культурно-сложного сообщества, включая прежде всего уровень государственного образования или одного из регионов. Наконец, возможно выделить сферу программистики и политики, через которые идеология и желаемая нормативность должны претворяться в целенаправленные коллективные действия. Как отмечается еще в одном из словарей по этническим и расовым отношениям, “главные употребления термина мультикультурализм охватывают несколько значений, которые включают мультикультурализм как идеологию, как дискурс и как сферу политики и практики”⁵.

Другими словами, мультикультурализм – это не просто процедура эмпирического установления и признания в том или ином обществе или государстве наличия культурных различий у разных групп населения. Хотя последнее и имеет свой смысл, как бы это ни казалось странным для россиян. Ибо существует значительное число государств (в прошлом их было еще больше), где сам факт полиэтничности не признается и даже официально отвергается как несовместимый с доктриной нации-государства и задачей обеспечения так называемого национального единства. Мультикультурализм есть также определенная концептуальная позиция в сфере политической философии и этики, которые могут воплощаться в правовые нормы, отражаться в характере общественных институтов и в повседневной жизни людей. Главная во всем этом цель – обеспечить поддержку культурной специфики с возможностью индивидуумов и групп полноправно участвовать во всех сферах общественной жизни от экономики до политики и культуры⁶.

Выделенные уровни требуют различных исследовательских подходов и концептуализации. Социологический подход направлен преимущественно на выявление того, как функционирует мультикультурное общество, как в нем производятся, воспроизводятся и воспринимаются культурные различия. Для социологического ракурса мультикультурализм представляет собой своего рода проблему или “вызов” культурного многообразия, с кото-

рым необходимо разобраться, чтобы выйти на уровень определения политических ориентиров. Социально-культурных антропологов, или этнологов, помимо тех же самых сюжетов, интересуют вопросы функционирования культурных систем, состояния этнического бытия на групповом и индивидуальном уровнях и то, какие могут вытекать из этого запросы и социальные стратегии. Для обоих подходов важен вопрос о групповых границах и о подвижной природе культурных идентификаций, а также феномен культурной сложности, который все чаще наблюдается не только в больших сообществах, но и в малых, а также на уровне отдельной личности. Именно в последнем случае устанавливается тот факт, что *мультикультурны не только общества, но и его члены, по крайней мере значительная часть, которая совсем не ограничивается только интеллектуалами и другими элитными элементами.*

Политико-философский ракурс дает возможность рассмотреть преимущества и ограничители правовых и политических действий в сфере обеспечения культурного многообразия и управления сложным обществом. Здесь мультикультурализм рассматривается скорее как ответ, чем проблема. Этим ответом является вопрос о благе, о моральности и о желательной перспективе, с которыми связывает себя то или иное общество. И уже политологи довершают анализ институциональных и политических форм, в которых реализуется принцип мультикультурализма.

Несмотря на большое число имеющейся литературы и дебаты о мультикультурализме, существует также *проблема восприятия и готовности серьезно обсуждать данные вопросы.* Как отмечается в одной из хрестоматий по мультикультурализму, довольно часто противники последнего просто отмахиваются от самого вопроса, считая его надуманным для конкретного общества⁷. Французский социолог Мишель Вьевиорка подтвердил данное наблюдение ссылкой на поведение части французских интеллектуалов, которые, чтобы не обсуждать данный вопрос применительно к Франции, просто добавляют к слову мультикультурализм определение “американский” и тем самым дискредитируют саму идею как абсолютно чуждую⁸.

Аналогичная реакция отторжения или трудного восприятия в отношении мультикультурализма наблюдается и в постсоветском пространстве, где существует глубоко примордиалистское видение этнического как группового архетипического и где “многонациональность” конституирована, тиражируется в лозунгах и в печатных текстах, распевается в песнях, распространена в застольных тостах. Идеи мультикультурности здесь места нет,

ибо она грозит нарушить привычный или официально предписанный (со временем это становится одним и тем же) порядок вещей. Если во Франции это угрожает издавна поклоняемой идее единой французской нации, то в России, наоборот, это воспринимается как подмена институционализованных государственным устройством и системой предпочтений “многих наций” настояживающей этнонационалистов метафорой “многих культур”, да еще и на личностном уровне. Татарин, русский или осетин не могут быть кем-то еще, и культурная сложность в данном случае однозначно видится как аномалия. Среди российских этнологов, психологов и социологов даже существует направление, которое изучает этот феномен как феномен “маргинальности”.

В то же самое время в России сам факт множественности культур в виде отличительных по целому параметру признаков (от государственности до психоментальности) настолько признан, а правовые нормы, государственные институты и общественные усилия по спонсированию групповой отличительности настолько масштабны, что найти новую нишу для мультикультурности достаточно непросто. Многим представляется, что все это уже было или есть, но только называется другими словами. Отчасти, это действительно так, но только отчасти. И для лучшего понимания различия между многонациональностью и мультикультурализмом полезно обратиться к внешнему опыту.

НАЧАЛО И ОПЫТ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА

Появление доктрины и политической практики мультикультурализма связано с Канадой. Более четверти века пролежала в моем архиве папка с надписью “многокультурность”, в которой находились не только привезенные из научных командировок в эту страну материалы по проблеме, но и рукописи моих двух незавершенных статей: “Меньшинства и политика многокультурности в Канаде” и “Национальные меньшинства и политика плюрализма в истории канадской федерации”. Или плюрализм был не в моде, или времени не хватило завершить и опубликовать эти тексты двадцать лет тому назад, – сказать сейчас трудно. Одно знаю точно, что эта папка и моя вовлеченность в дискуссию о многокультурности восходят к первой половине 1970-х годов.

В 1973 и 1974 гг. я собирал по данной теме материал в Канаде, а в 1975 г. участвовал в дискуссии на Всемирном конгрессе историков в г. Сан-Франциско о роли меньшинств в истории, где выступил с сообщением. Еще восемь лет спустя, на Международ-

ном конгрессе антропологических и этнологических наук в Квебеке в 1983 г. мною был сделан доклад о политике многокультурности в Канаде, тезисы которого опубликованы⁹. На этом мой интерес к этой теме в то время закончился, хотя многокультурность завоевывала все больше пространства в научных дебатах и в мировой общественной практике.

Как начинался мультикультурализм в Канаде? Канада принадлежит к числу государств с многоэтничным составом населения, которое сложилось главным образом в результате сначала европейской колонизации, а затем иммиграции из разных стран мира¹⁰. В рамках принятых в советской литературе подходов население этой страны делится на три категории: две нации – англоканадцы и франкоканадцы; аборигенные народы – индейцы, эскимосы и метисы; национальные меньшинства, которых некоторые советские специалисты по Канаде называли “переходными группами”¹¹. Кстати, само это понятие трактовалось в советской этнографии как один из постулатов теории этноса. Им обозначались группы населения, которые не принадлежат ни к какому этносу, а только совершают переход из одного этноса в другой.

С позиций современного понимания этнических проблем такая жесткая формула канадской мозаики сильно устарела. Но и во времена моих давних изысканий было крайне затруднительно применить теорию этноса к данному материалу: что есть канадские этносы и почему нет канадского этноса, если есть американский этнос, а в хоккей играют представители одного народа, которых называют “канадцами” и которые считают себя таковыми? Уже тогда мне представлялось более адекватным видение канадской нации как этнически сложного образования, несмотря на давнюю историю и остроту франкоканадской проблемы и подъем квебекского сепаратизма¹². Разумеется, канадская культурная мозаика имеет свою специфику, которая заключается не только в переселенческой (иммиграционной) природе ее населения, но и в асимметрии его основных компонентов, т.е. тех самых трех выделенных категорий. Англоканадцы и франкоканадцы составляют две доминирующие общности (также между собою пребывающих в асимметрии), малочисленное аборигенное население – это наиболее проблемная часть населения с точки зрения статуса и условий жизни¹³, и наконец, так называемый третий элемент – иммигрантские этнические меньшинства¹⁴.

Мне были хорошо знакомы представители всех этих групп населения, в том числе и наиболее выдающиеся личности, такие, как: англоканадцы Дэвидсон Дантон – ректор Карлтонского университета и Стенли Райерсон – известный историк и один из ли-

деров канадской компартии; франкоканадцы Пьер Трюдо – бывший премьер-министр страны и Рене Левек – лидер сепаратистской Квебекской партии; канадские аборигены Стив Кафки – лидер северных атапасков-дене, ставший затем президентом Ассамблеи первых наций, и Большой вождь Джозеф Нортон из резервации ирокезов Кахнаваке; представители меньшинств – русский граф Джордж Игнатъефф и лидер русских духоборов Козьма Тарасофф. Все они были безусловно канадцами и себя таковыми считали, несмотря на различия культурных бэкграундов и разные политико-идеологические позиции.

При всем при этом в канадском обществе в 1970–1980-е годы отчетливо проходили разделительные линии между культурно-отличительными группами населения, и лидеры каждой из этих групп выступали с собственными программами, отражавшими озабоченности и запросы рядовых граждан. Среди них были и те, кто отстаивал общеканадские интересы, точнее позиции канадского гражданского национализма в противовес мини-национализмам квебекского или аборигенного толков. Во многом общеканадский национализм совпадал с этнически окрашенным национализмом англофонов, которые представляли собой носителей доминирующего в обществе культурного компонента. Однако глашатаями первого необязательно были англоканадцами. Тот же премьер-министр Канады Пьер Трюдо, боровшийся против сепаратизма, или Джордж Игнатъефф, отстаивавший национальные интересы страны в качестве представителя Канады в ООН.

Кроме этого, в отличие от схожей дихотомии “русский – российский”, англоканадский национализм не был так нагружен этническим содержанием и в большей мере был подчинен общеканадскому проекту или гражданскому общеканадскому национализму, как если бы российский проект (или российский гражданский национализм) был сильнее и приоритетнее русского этнонационалистического проекта, поборниками которого в России, кстати, также выступают необязательно этнические русские.

Доктрина многокультурности родилась в Канаде в контексте основного противостояния англофонов и франкофонов, но ее цель и смысл были связаны прежде всего с проблемами “третьего элемента”, т.е. с национальными меньшинствами. Вопрос этот стал выдвигаться на передний план общественно-политической жизни страны по ряду причин. В силу демографических факторов за сто лет существования канадской федерации (с 1867 г.) доля населения, не относящегося к двум “нациям-основательницам” постоянно возрастала и в конечном итоге составила более чет-

верти населения. В 1871 г. два миллиона канадцев (60% населения) были британского происхождения, один миллион (31%) – французского и 250 тыс. (8%) – другого этнического происхождения, включая коренных жителей – индейцев и эскимосов. Спустя сто лет, в 1971 г. соотношение было существенно другим: 44% канадцев британского происхождения, 28% – французского и 27% другого этнического происхождения. Растущее численно население небританского и нефранцузского происхождения стало все более отчетливо выражать свое стремление устранить существовавшее социально-экономическое и политическое неравенство этнических групп и повысить статус меньшинств в канадском обществе.

Действовавшая в 1960-е годы Королевская комиссия по двуязычию и двукультурию была вынуждена помимо франко-канадской проблемы заняться вопросом о канадских меньшинствах и посвятить ему отдельный том известного доклада комиссии, рекомендации которого легли в основу этнокультурной политики правительства на последующий период¹⁵. В этом документе признавалось наличие в стране проблем, связанных с другими этническими группами, помимо англофонов и франкофонов. “Кризис федерации” предлагалось преодолеть целой серией долгосрочных мер и программ, в том числе и в отношении канадских меньшинств.

Ответом на рекомендации комиссии явилось официальное провозглашение канадским правительством 8 октября 1971 г. политики *мультикультурализма на двуязычной основе*. Комиссия и правительство исходили из того, что, “несмотря на существование двух официальных языков, не существует официальной культуры, и никакая этническая группа не имеет каких-либо преимуществ перед другими”. Формулируя цели новой политики, премьер-министр П. Трюдо опирался на общую программу возглавляемой им либеральной администрации о создании в Канаде “справедливого общества”, суть которой заключалась в попытке осуществить принцип либерализма о предоставлении равных возможностей для всех граждан во всех сферах общественной жизни. “Политика мультикультурализма на двуязычной основе представляется правительству наиболее подходящим средством обеспечения культурной свободы канадцев. Эта политика должна помочь покончить с дискриминационным отношением и с культурной неприязнью. Национальное единство, если таковое что-то может означать в личностном восприятии, должно основываться на вере в индивидуальную самобытность каждого. Из этого может вырасти уважение к самобытности других и желание разделять общие идеи, отношения и суждения. Последовательная по-

литика мультикультурализма поможет создать это изначальное доверие. Она может составить основу общества, построенного на принципе честной игры для всех”¹⁶.

Политика мультикультурализма была поддержана всеми политическими партиями страны и канадской общественностью, за исключением Квебека. Настороженная позиция франкофонов была вызвана тем, что доктрина мультикультурализма как бы разрушала существовавшую в стране концепцию двух канадских наций, которая восходит еще к временам английского колониального господства в Канаде, когда английский лорд Дарэм написал в своем отчете о положении дел в этой колонии знаменитые слова о “двух враждующих расах в чреве одного государства” (two races warring in a bosom of a single state)¹⁷. Трудно открыто высказался против этой концепции, заявив следующее: “Подавляющее большинство канадцев в своем повседневном общении пользуются английским или французским языками. Именно по этой практической причине, а не из-за неких рассуждений о нациях-основательницах, эти два языка приобрели в Канаде официальный характер”.

Таким образом, концепция мультикультурализма признавала языковой дуализм канадского общества, но отвергала принцип двух господствующих культур и двуединый характер канадского народа, т.е. никакой “двунациональности плюс меньшинства” в одной стране быть не может, ибо все граждане страны составляют одну нацию канадцев¹⁸. Не случайно объектом политики мультикультурализма должны были стать не только иммигрантские меньшинства, но и франкоязычные и англоязычные анклавы в иноязычной господствующей среде, а также и аборигенные жители Канады. Эта тенденция к нивелирующей формуле (многокультурность для всех) постоянно усиливалась по мере уточнения целей политики с учетом уже накопленного опыта и конкретных ситуаций. Спустя десять лет цель политики мультикультурности формулировалась следующим образом: “Поощрять и поддерживать в рамках канадской политики официальных языков и в духе действующих кодексов прав человека полное воплощение многокультурной природы канадского общества через программы, которые способствуют сохранению и распространению этнокультурного наследия и которые облегчают взаимное уважение и понимание среди всех канадцев”¹⁹.

Эта формула была приведена в соответствие с положениями Канадской конституции 1982 г. В конституции утверждается, что “каждое лицо равно перед законом и имеет право на равную защиту и равные блага от закона без дискриминации на основе расы, национальности (имеется в виду “гражданство”. – В.Т.), этни-

ческого происхождения, цвета кожи, религии, пола, возраста, умственной или физической неспособности”. Ясно, что вся концепция прав в данном случае основывается на понятии индивидуальных прав, а равенство понимается как отсутствие дискриминации и наличие равных возможностей. В теории и практике политики многокультурности не присутствовало понятие коллективных прав для этнокультурных групп, равно как и самого понятия “культурные права”. Исключение составило признание особых прав французского языка и католических меньшинств на отдельные школы за пределами Квебека. В остальном законодательства канадских провинций не признавали особые права для религиозных, расовых или языковых меньшинств²⁰.

Реализация политики многокультурности была возложена на департамент государственного секретаря, а с 1972 г. был создан в рамках того же ведомства пост государственного министра по политике многокультурности (без портфеля). В 1973 г. при министре в качестве совещательного органа был создан Канадский консультативный совет по мультикультурализму, в состав которого вошли представители различных этнических групп Канады, видные ученые и политические деятели (всего сто человек). Непосредственной разработкой и осуществлением программ был занят Директорат по мультикультурализму, в штате которого в Оттаве числилось 37 человек. В 1974 и 1977 гг. я посетил это учреждение и имел очень полезные беседы.

Канадское правительство определило четыре основных направления государственной поддержки политики мультикультурности:

- помощь всем этническим группам, которые проявляют желание и прилагают усилия сохранять и развивать собственную культуру;

- помощь представителям всех групп по преодолению культурных и других барьеров на пути полноценного участия в канадском обществе;

- содействие контактам и культурному взаимодействию членов различных групп в интересах обеспечения национального единства;

- помощь иммигрантам в овладении по крайней мере одним из официальных языков, чтобы стать полноправным членом канадского общества.

Директорат по мультикультурности, бюджет которого вырос за десять лет с 2 до 11 млн долл. в год (эти данные были получены мною во время поездки в 1983 г.), разработал и осуществил ряд программ и проектов, главным образом через систему денежных грантов организациям, которые представляют те или иные

этнокультурные группы. Причем федеральные средства делились между провинциями, где имелись представительства Директората. Почти 20% средств ушли на поддержку наиболее затребованной программы сохранения и обучения неофициальных языков (более 40 различных языковых общин получали поддержку в 1979–1980 гг.). Обучение другим языкам, кроме английского и французского, было открыто для всех желающих, а не только для представителей одной группы. Тем самым поощрялось расширение языкового репертуара канадцев и ослаблялись языковые барьеры, не менее важной целью являлось сохранение родного языка.

Другим важным направлением стала поддержка исторических и литературных публикаций, раскрывающих историко-культурное наследие представителей разных групп, чтобы основная часть общества была лучше осведомлена об их вкладе в культуру Канады²¹. Серьезные средства выделялись на поддержку многоэтнических организаций, которые хотели развивать контакты между представителями разных групп. Больше всего средств направлялось на поддержку особых групповых проектов, включая семинары и форумы, научные исследования, радиовещание, выставки, фестивали и т.п.

Что представляется важным с позиции сегодняшнего восприятия канадского опыта, так это включение в политику многокультурности в качестве важнейшего направления обеспечение понимания и поддержки данной политики со стороны большинства населения страны, а также со стороны основных институтов общества, включая бизнес, образовательные и информационные институты, научное сообщество. Достаточно привести один пример. Это выполненное по заказу правительства обстоятельное социологическое исследование о межэтнических установках и восприятии политики мультикультурализма различными сегментами канадского общества. Итоговая публикация²² стала одним из фундаментальных исследований в канадской этносоциологии того времени, и она оказала существенное влияние на общество и политиков. Эта установка активного воздействия на ситуацию в сфере межэтнических отношений сильно отличается от обреченности и якобы природной изначальности антимигрантских настроений среди основного населения страны, которую можно наблюдать, например, в современной России, где постоянно слышатся отсылки к неким мифическим “местным укладам” и “принятому образу жизни”, в который не могут или не желают интегрироваться культурно отличающиеся группы или недавние иммигранты.

В конечном итоге канадский опыт целенаправленной политики воздействия и смены отношений людей к той или иной проблеме себя оправдал полностью. Канадское общество действительно изменилось в своем восприятии культурной мозаики и роли иммигрантских и других недоминирующих групп среди населения страны.

Еще более поразительные результаты политики многокультурности имели место в Австралии, где долгое время господствовала расистская доктрина “белой Австралии”, не допускавшая никакой интеграции неевропейского населения вплоть до запрета иммиграции из стран Африки и Азии²³. Однако у меня нет возможности подробно излагать этот опыт на основе только литературных источников.

Уже к середине 1980-х годов в Канаде было реализовано много полезных программ в рамках провозглашенной политики. В рамках Архивной службы Канады была заложена система “этнических архивов”. На основе собранных ими данных были подготовлены и опубликованы более 20 томов по истории и культуре различных этнических групп, населяющих страну и внесших вклад в ее развитие. Начали вещать на разных языках сотни мелких радиостанций, рассчитанных на отдельные общины и группы населения. Уменьшились расистские и антимигрантские настроения, увеличились межэтнические браки, расширилось представительство меньшинств в органах власти и в общественных институтах, изменилось содержание образования в пользу его большего разнообразия. В 1970-х годах прошли крупные конференции по обсуждению проблем многокультурности. Все это, кстати, позитивно сказалось и на отношениях двух основных групп населения – англоканадцев и франкоканадцев, а также на снижении сепаратистских настроений в Квебеке.

Французский ученый Мишель Вьевиорка в специальной статье на эту тему отмечает: “Важно здесь не быть наивным. Мультикультурализм в той форме, как он был изобретен в Канаде в начале 1970-х, был не просто ответом на проблемы культурных и этнических меньшинств в стране и средством восприятия Канады как мозаичного общества, а не как плавильного котла. Мультикультурализм также, а может быть, прежде всего, стал средством избежать или отложить во времени биполяризацию страны”²⁴. Именно по этой причине англофонная Канада восприняла новую политику с достаточным пониманием и поддержкой. Либеральная часть франкофонов также в конечном итоге выступила в поддержку.

В то же время политика многокультурности поставила ряд сложных вопросов перед канадскими властями и обществом. Пре-

жде всего оказалось невозможным совместить эту доктрину с концепцией двух основополагающих наций, а демонтировать последнюю также было непросто из-за противодействия французской части Канады. Последняя, в лице крайних националистов, так и не поддержала политику мультикультурализма, видя в этом угрозу для собственного статуса²⁵. Теоретики и практики разделились по вопросу о безоговорочном признании ценностей разных культур в современном обществе и о пределах культурного релятивизма в условиях одного государства. *Культурный плюрализм ослаблял и устранял многие напряженности, но не всегда отвечал задачам национальной консолидации*. Один из канадских экспертов писал по поводу первых итогов мультикультурализма: “Сохранение культурных форм может быть важным источником эмоционального удовлетворения. И все же успешное сохранение языка и культуры частью населения из числа этнических меньшинств может мешать социальным переменам через отстранение представителей этих групп от обретения умений и навыков, необходимых для эффективной конкуренции в условиях происходящей промышленной и технологической революций”²⁶.

Наконец, достаточно скромное государственное субсидирование политики и слабая вовлеченность бизнеса в обеспечение культурного многообразия и равноправия представителей различных этнических групп не смогли принести быстрые перемены по части реального равенства, если таковое вообще достижимо в условиях динамично развивающегося общества и продолжающейся активной иммиграции, которыми отличалась Канада в 1970–1980-е годы²⁷. В целом, если сравнивать аналогичный опыт в других странах, то мультикультурализм в Канаде и Австралии позволили специалистам выделить некоторые его типичные стороны. “Характерная черта описанного выше состоит в том, что социальные требования групп меньшинств не отделяются от культурных запросов, а общие экономические потребности и интересы соответствующих стран не отделяются от их политических, моральных и культурных ценностей. Эта черта составляет основу того, что мы можем назвать *интегрированным мультикультурализмом*”²⁸.

В другую категорию *дезинтегрированного мультикультурализма* подпадает опыт США, в частности политика так называемых аффирмативных акций, которая выросла из движения за гражданские права черных американцев в 1960-е годы. И хотя США считаются страной многокультурной, но здесь утвердилась иная политическая философия и практика в отношении культурного многообразия. В этой стране суть политики заключается не столько в признании и достижении культурного плюрализма, сколько в устранении социального неравенства и дискриминации

на основе расы и этничности. Как отмечал Натан Глейзер, “аффирмативные акции не имеют никакого отношения к признанию разных культур, ибо затрагивают только сферу работы и допуска к должностям”²⁹.

В США оказались разведенными два рода проблем. Устранение расового неравенства как бы выносилось за пределы культурных категорий: между черными и белыми американцами нет культурных, тем более этнических различий, а есть отличия социальные, обусловленные не идентичностью и традицией, а историей и социальной практикой. Что же касается признания меньшинств, в том числе иммигрантских, но не только их одних, а также и женщин, гомосексуалистов, инвалидов и прочих, то именно эта сфера относится в категории политики мультикультурализма со всеми ее вывертами по части “политической корректности”. Говоря словами названия книги Натана Глейзера, “мы теперь все мультикультуралисты”, поскольку “мы все сейчас уделяем гораздо больше внимания меньшинствам и женщинам и их роли в американской истории, в обществоведческих работах и на школьных уроках по литературе”³⁰.

Как можно в целом оценить зарубежный опыт политики многокультурности? Безусловно, в целом ряде стран он дал позитивные результаты для состояния общества и их развития. Именно по этой причине он пользуется поддержкой многих правительств, политических партий, международных организаций. Особый энтузиазм наблюдается со стороны ЮНЕСКО³¹. В ряде стран эта политика не дала никаких особых результатов, хотя и не нанесла ущерба. Но есть целый ряд вопросов, оставшихся без ответа в дебатах о мультикультуризме. Отметим некоторые из них на примере России.

РОССИЙСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Если говорить об этнокультурном облике нашей страны, то он отличается огромным разнообразием, который обусловлен обширностью территории, природными различиями, характером формирования государства и его политикой в отношении культурно-разнородного населения. Многокультурность была присуща российскому государству с момента его возникновения, хотя она не всегда осознавалась и артикулировалась как современниками, так и позднейшими осмыслителями. Радикальных изменений в составе населения не происходило, и этническая пестрота Поволжья и Северного Кавказа, а также Сибири и Севера существует уже веками. Российская империя, СССР и Российская Федерация никогда

не брали на вооружение доктрину гражданского национализма, и общая идентичность жителей страны обеспечивалась подданством царю, православием, а затем советским патриотизмом. Поэтому вопрос о признании самого факта культурно-сложного населения в России не стоял, как это было, например, в Германии или во Франции. В СССР “многонациональность” и “дружба народов” были одними из визитных карточек страны, а в реальной политике советского времени “национальная форма социалистической культуры” была той же самой политикой мультикультурализма, но только называлось это по-другому.

При всех издержках, ограничителях и даже преступлениях, имевших место в сфере советской политики в отношении меньшинств, это была политика признания и спонсирования этнического разнообразия, причем не только в сугубо культурных сферах (искусство, литература, наука, образование), но также в социально-экономической и политической сферах. В XX в. на территории бывшего Советского Союза, как никогда и, пожалуй, нигде в мире, осуществлялось очень интенсивное культурное производство. Одна из его причин связана с тем, что существовавший строй, не способный обеспечить преимущества в таких сферах, как хозяйственное обустройство людей, социальное обеспечение и политические свободы, тратил огромные материальные и пропагандистские усилия на развитие таких сфер, как культура и образование.

При всех деформациях, которые здесь существовали (жесткий идеологический контроль, явно излишняя поддержка престижной профессиональной культуры за счет пренебрежения низовой массовой культурой, спонсирование этнических идентичностей в ущерб общегражданским ценностям и т.д.), нельзя отрицать, что это были бесспорные достижения, которые во многом сохранились и сегодня. Нет такого региона мира, где бы в течение XX в., как это было в Советском Союзе, не исчезла ни одна малая культура, и фактически сохранилась вся этническая мозаика страны – огромного государства, в то время как исчезли сотни малых культур в других регионах мира.

Россия не является уникальным государством с точки зрения этнокультурного многообразия. Такое представление является просто результатом нашего слабого знания внешнего мира. Другое дело, что в России существует своя особенность, связанная с приданием чрезмерной значимости этнокультурному фактору в обществе. В России институционализация этнокультурного фактора огромна. Она распространяется вплоть до государственно-административного устройства. Плохо это или хорошо – это другой вопрос. Однако теоретическое понимание соотношения

культурной партикулярности с гражданским обществом, государством и задачами управления – это важная проблема, которая недостаточно осмысливается в рамках политики многокультурности.

Мультикультурализм может быть полезным в ряде аспектов для современной России, причем в противоположном по сравнению с Канадой направлении: в направлении отказа от абсолютизации культурных различий и признание схожести и культурной гомогенности гражданского сообщества. Как политическая философия и как практика он может помочь совершить важнейший переход от формулы многонационального народа к более мягкому варианту плюралистической нации, как он помог смягчить поляризацию канадского общества по линии двух наций в одной стране. Однако каков должен быть этот переход, мы точно сейчас сказать не можем. И речь здесь идет не столько о пересмотре текста Конституции и устранении из текста Основного закона данной формулы. Речь идет о том, что *сама категория многокультурности усиливает легитимность российской гражданской нации, а многонациональность делает ее невозможной даже по чисто лингвистической причине: нация не может быть многонациональной*. Но возможны и другие варианты, о которых необходимо вести серьезный разговор.

Мультикультурализм в России в его раннем, более традиционном понимании (как в Канаде или в Австралии) может принести дальнейшее без того излишнее деление населения на группы, ибо раз полученные преференции или статус сдерживают естественные процессы постоянного формирования и смены идентичностей, появления или исчезновения групповых коалиций на основе культуры. Не стоит забывать, что за последние 10–15 лет наука сделала важные шаги в понимании того, что такое этническая культура и какова роль этой формы человеческой деятельности в человеческой эволюции. Понимание культуры как сложного феномена, понятие гибридности культуры, т.е. представление об отсутствии жесткой культурной нормы, а также жестких культурных комплексов – это одна из интересных общетеоретических новаций, с точки зрения которой нужно смотреть на нашу собственную действительность.

Порой мы слишком одержимы восстановлением некоей утраченной идеальной культурной нормы, которая на самом деле никогда не существовала, или же пытаемся установить культурные различия на групповом уровне, игнорируя, презирая и отвергая схожести, которые на самом деле на порядок значительнее. Так в рамках в общем-то единой российской не только гражданской,

но и, конечно, культурно-социальной общности появляются сконструированные образы гордых дикарей или бандитов-террористов, которые заслоняют целые этнические группы, как, например, чеченцев, схожесть которых с другими народами Северного Кавказа, да и с остальным населением нашей страны гораздо больше, чем различие. То, что можно назвать этнографическим романтизмом на основе культурного релятивизма (не существует иерархии культур и их ценностей), на самом деле в своей глубине содержит патерналистский смысл, что позволяет определить это более жестко как своего рода *культурный фундаментализм*.

Известно, что степень адаптации человека, человеческих сообществ к культуре, к культурным инновациям велика, и это уже доказано даже на археологических материалах. В этом отношении трактовка российской культуры и традиции как детерминанты последующих изменений и инноваций расходится с более тонким современным подходом. Это свидетельство того, что культурный релятивизм себя не изжил и, самое печальное, он имеет явные политические проекции. В этой связи очень часто ощущается некая абсолютизация культуры: мало культуры быть не может, ее может быть только много и чем больше, тем лучше. Абсолютизация культуры как некоей панацеи – это серьезная методологическая, теоретическая и общественно-политическая проблема. Это проблема рационального культурного воспроизводства и сбалансированного культурного развития.

Мультикультурализм помогает малым культурам, добавляя им возможностей в сравнении с доминирующей в обществе культурой. Но при ограниченных ресурсах и при этноцентристском управлении на уровне отдельных регионов именно доминирующая культура, столь важная для социальной конкуренции человека в масштабах всей страны, может быть принесена в жертву местной культурной специфике. Эту тенденцию можно наблюдать в некоторых российских республиках (особенно северокавказских), где падает потенциал общероссийского культурного комплекса на основе русского языка и даже снижается знание русского языка у части молодого поколения.

Есть проблема культуры и конфликта. Культурный аргумент – один из основных в производстве насилия. С опорой на культурные аргументы рождается ксенофобия, нетерпимость и, в конечном итоге, мобилизация на открытое физическое насилие. Мы заблуждаемся, думая, что есть какие-то традиционные культурные механизмы или миротворчество, которое в нас дремлет и которое можно использовать для преодоления конфликтов. Мы заблуждаемся, когда полагаем, что так называемые прини-

женные меньшинства – это всегда страдающие от господствующего большинства группы, лишенные возможности удовлетворения базовых культурных потребностей, но если они получат самоопределение, то все проблемы будут решены.

На самом деле меньшинства становятся инициаторами насилия как раз через культурные аргументы, через то, что они должны сохранить, возродить или защитить свою культуру. Они стали инициаторами насилия или конфликтов, которые в последнее время произошли на территории бывшего Советского Союза и в других регионах мира. Причем, говоря о культурном аргументе, я имею в виду не только этнические, языковые, но также религиозные и прочие различия. В этом аспекте *мультикультурализм дает только умеренные по своему воздействию инструменты политики. Он может снижать напряженность, но не решает саму проблему насилия и обеспечения безопасности общества и государства.*

Обновленная этнокультурная политика в России должна преодолеть самую главную слабость предшествовавших доктрин и политических практик, существующих в нашей стране и за рубежом. Это прежде всего жесткогрупповое видение субъекта политики, который в разных обществах определяется по-разному: этносы, расы, нации, меньшинства и т.д. Такое видение в значительной мере вытекает не только и даже не столько из бытового сознания, а из позитивистской парадигмы восприятия реальности в научном сообществе. Академический анализ и политика строятся на том, что существуют изначально некие социальные группировки людей, по которым люди расписаны чуть ли не с рождения. В силу этой групповой принадлежности у гражданина и у группы в целом есть потребности, интересы и права и даже отдельная “этническая правосубъектность”.

Как отечественная “национальная политика”, так и зарубежная политика многокультурности в разной степени, но исходят из этого, как я его определяю, *принципа группизма*. Вне групп или за пределами группы как бы нет этнокультурной реальности, а значит, и нет субъекта и объекта политики. Однако это не совсем так. Пока наука и политика не научатся взгляду за пределами группизма (я его определяю как *принцип после группы*), мы обречены на неадекватные восприятия и действия.

Нет групп от рождения. Даже так называемый расовый тип – это прежде всего результат сформированных в науке представлений и общественных восприятий. Люди принадлежат к разным культурным традициям, обусловленным прежде всего воспитанием и социализацией в целом. Но люди не действуют в монокультурном социуме, а значит, и не принадлежат к *одно-*

групповой культуре, ибо сама культура многослойна. Можно говорить с полным основанием о кубачинской, даргинской, дагестанской и российской культурах, а также и о наличии данных общностей (кубачинцев, даргинцев, дагестанцев, россиян). Но это не разгрупповые культуры, и принадлежащие к ним люди не есть разные по членству группы. *Это есть одна культура с многоуровневой сложностью, и это одни и те же люди, которые участвуют в данной мультикультуре.* Таким образом, принадлежность и содержание носителя культуры определяются по его участию в ней, по конкретной ситуации, а не по внешнему виду или по звучанию фамилии.

Конечно, было бы наивно недооценивать стереотипическое восприятие этничности в фенотипическом контексте. Так, например, в определенном образом настроенной (именно настроенной, а не изначально данной) общественной среде монголоидные черты или темный цвет кожи могут стать мощным культурным барьером, когда человеку сложно объявить свою принадлежность к культурной общности, которой наукой и бытовой стереотипизацией уже был предписан физико-антропологический тип. Степень значимости таких восприятий учеными иногда не учитывается при замере так называемых культурных дистанций, когда объяснения изыскиваются в социальных и политических факторах. Но вместе с тем она часто явно преувеличивается. Даже самые казалось бы устойчивые представления когда-то сформировались, и они подвержены изменениям. Я обратил внимание на одно газетное сообщение: “Вчера Алтайский государственный технический университет взял шефство над одиннадцатилетним вундеркиндом из Рубцовска Эрнесто Евгением Санчесом Шайдой, который учится в 9 классе и уже имеет 7 промышленных изобретений”. Меня удивил не сам вундеркинд, а то, что газета “Известия” (2002. 12 февр.) напечатала это извещение без ожидаемого комментария по поводу столь необычных имени и фамилии мальчика. Общество должно начинать привыкать к более сложным звучаниям российских фамилий, отчеств и имен. Помню, как нервно поправил меня при первом знакомстве Сергей Шойгу в 1992 г., когда я как-то не сразу уловил произношение его отчества *Кожугетович*. Сейчас страна (политики и журналисты прежде всего) выговаривает это отчество без запинки.

Я наблюдал в США и в Канаде настоящий кошмар, когда в 1970–1980 гг. граждане этих стран учились произносить непривычно звучащие фамилии новожителей. Первыми среди обучающихся были профессора, имевшие студентов и аспирантов из Индии, Китая, Филиппин, арабских стран, потом – уже студенты, заучивавшие фамилии ставших профессорами выходцев из азиат-

ских и африканских стран. Сейчас “американские фамилии” – это весь мир. В России будет все больше россиян с фамилиями типа *Ханга*, в том числе и русских с самыми разными фамилиями, а не только с окончаниями на “ов”. Книжки про “татарские фамилии” будут историческим реликтом, полезным для историков и для семейных генеалогий. Это и есть один из признаков многокультурности или культурной сложности.

Важным представляется и то, что все большее число современных людей используют свою культурную отличительность для достаточно утилитарных целей, в том числе для выстраивания индивидуальных и коллективных стратегий. Время молчаливой этничности патриархального села и монокультурных городов (если таковые вообще когда-то были) прошло. Сегодня образованные деревенские (аульские или джамаатские) активисты и их удачливые односельчане в бизнесе хотят обозначить себя не только замком-особняком с грозным забором, но и в культурно-историческом смысле, а может быть, даже и как отдельную (и обязательно древнюю!) группу. Они могут называть эту воображаемую группу “народом”, “общиной”, “родом”, “тейпом”, “сеоком” и т.п. Но главное – это конструирование в инструменталистских целях культурных различий для создания легитимной основы получения статуса, власти или вспомоществования.

Во многих случаях это удается, во многих – нет, в зависимости от разных факторов, в том числе и от наличия интеллектуалов, денежных спонсоров и лоббистов, готовых сформулировать и действовать во имя нового проекта. Так, например, в начале 1990-х годов в Верховном Совете появился депутат из района проживания коряков, часть которых когда-то называлась *алюторцами*. В условиях перестройки и гласности этот энтузиаст “нового этноса” успешно пролоббировал “самоопределение народа” в пользу жителей трех деревень, где сохранился алюторский диалект корякского языка. В итоге случился “этногенез”, и в списке коренных малочисленных народов Российской Федерации появился новый народ – алюторцы. А вот в пользу восточных хантов, которые говорят на другом языке и не понимают северных хантов, лоббиста до сих пор не нашлось. В нефтегазовом благополучии Ханты-Мансийского автономного округа, видимо, деловой и политический интересы также не действуют в сторону разделения и оформления новой группы. Поэтому “этнического процесса парцеляции”, если выражаться на языке отечественных этнографов, в этом случае не наблюдается.

Для чего людям нужна принадлежность по этнической группе и для чего они конструируют и воспроизводят данную форму культурной идентификации – это вопрос особый, который час-

тично уже рассмотрен выше. Скажу только, что в современном мире у этого вида человеческой деятельности и у этой стороны культурного бытия нисколько не меньшая востребованность и больше возможностей для реализации связанных с этничностью запросов. Поставить преграду на пути возрастания культурной мозаичности населения государства или одного из его регионов невозможно и непродуктивно с политической точки зрения.

Прошедшая перепись населения 2002 г. уже показала, что само понятие *национальность* как исключительная принадлежность к культурно-отличительной группе и жесткие списки таких национальностей перестают удовлетворять запросы людей в смысле их этнокультурной идентификации. Все больше людей хотят по национальности быть россиянами, сохраняя свою принадлежность одной или нескольким культурам в зависимости от своего происхождения и места проживания. Верхушечное предписание будет значить все меньше, а низовые инициативы (на уровне активистов среднего уровня) – все больше. Чем раньше ученые поймут эту новую материю, тем быстрее они помогут политикам выстроить адекватное и эффективное управление в данной области. Главным принципом этого обновления должно быть *признанное многообразие без жесткого предписания делить всех граждан по эксклюзивному членству в культурно-отличительных группах, что не ослабляет, а укрепляет целостность российского сообщества*. В этом направлении обновленная этнокультурная политика может дать полезные результаты³².

ПОСЛЕ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОСТИ

Российский философ А. Родин в своей интересной статье по поводу мультикультурализма сформулировал ряд важных вопросов, рассуждениями вокруг которых я бы хотел завершить данную главу. Родин пишет: “Тезис о том, что существует *много культур*, означает, в таком случае, две вещи. Во-первых, что люди, вообще говоря, живут по-разному, и, во-вторых, что многие люди живут похоже. Если бы все люди жили одинаково, то не было бы *множества культур*, если бы все люди жили по-разному, если бы у людей не было таких *общих вещей*, как языки, тексты, обычаи, религии, обряды, кулинарные рецепты и прочее, то нельзя было бы говорить ни о каких культурах вообще”³³. Именно поэтому существует фундаментальная теоретическая проблема: где та самая достаточность в сходстве и различиях, чтобы осуществлять деление людей на столь строгие категории, кото-

рые западные антропологи длительное время называли *культурами*, а российские – *народами*, а теперь еще и *этносомами*?

В любом случае, вопрос о значимых границах в определении культурных общностей звучит ныне совершенно по-новому, или, по крайней мере, должен звучать по-новому. Почему представители русско-украинского культурного симбиоза живут в “пограничье”³⁴ и тем самым как бы не являются носителями цельной культуры, а пребывают в некоем межкультурном пространстве, а украинцы с их огромными различиями между вполне отличающимися культурными ареалами (а тем более русские) должны считаться представителями Культуры в ее единственном значении? Почему историко-культурная общность дагестанцев, имеющая свое самосознание (гамзатовский “Мой Дагестан”), свою государственность и даже свой общий язык (русский), не может считаться отдельной культурой, а аморфные и многоязычные аварцы и еще два десятка других внутридагестанских культур могут и таковыми признаются? Где действительно те значимые степень и глубина различий, которые перевешивают другой не менее, а более значимый в современной жизни культурный комплекс общих черт и характеристик? Почему татаро-башкиры северо-западной Башкирии не могут считаться Культурой, а должны метаться между агитаторами двух других исторически недавно признанных (*татары* в современном смысле, а не как все тюрки, как это было еще сто лет тому назад) культур? Почему мы признаем состоявшийся когда-то в давнем прошлом культурный генезис из различных элементов и взаимодействий и отказываемся констатировать, что аналогичный процесс происходит в современном мире?

Уж если когда и был этногенез, то не только в древних обществах, но и в современных условиях. Поэтому появившаяся в последнее десятилетие во французской антропологии понятие *mélange* или *bricolage*, которое обозначает культурную смешанность как одну из норм современной эволюции, на наш взгляд, осталось без должного внимания российской науки, хотя, казалось бы, эмпирического материала в отечественном опыте более чем достаточно, особенно на уровне повседневных практик, а не доктринальных установок.

В этой связи мне бы хотелось сделать акцент на понятии *места*, а не *группы* как единицы культурно-антропологического анализа. Если в изучении древних культур существует понятие “археологического места” (*site*), то почему в современном анализе больше значимости (вплоть до специальных научных конгрессов) имеет общность исторически реконструируемых потомков финно-угорского племени (или племен), проживающих в Вен-

грии, Эстонии и российских республиках, а не общность по месту, например, Поволжью и Приуралью, где столетиями проживают, взаимодействуют и воспроизводят общую культуру представители марийцев, мордвы, удмуртов, русских, татар и других этнических групп? Наконец, чем менее интересна для исследования в качестве единицы культурного анализа кочевая оленеводческая бригада, состоящая из хантов, манси и русских, где никаких межнациональных отношений не происходит, а имеют место другие, более важные культурные процессы личного взаимодействия и взаимодействия этого первичного коллектива с властями, заезжими или “другими” местными, с хозяйственниками, включая уже и крупный компанейский бизнес?

Норвежский антрополог Томас Хилланд Эриксен вполне обоснованно назвал свой учебник по социально-культурной антропологии “Малые места, большие вопросы”³⁵, отдавая тем самым предпочтение именно месту, а не группе как единице антропологического анализа. Последний вопрос стал недавно главной темой одного из номеров журнала “Этник энд рэйсиэл стадис”³⁶, но это обсуждение нуждается в продолжении.

Еще один вопрос А. Родина звучит так: “Практически за идеей многокультурия стоит мысль о том, что все культуры – как бы ни определять их границы – в некотором смысле равноправны, что все имеют одинаковое право на существование. Нужно заботиться о сохранении культур и не допускать того, чтобы одни культуры вытесняли другие. Я хочу задать простой вопрос: зачем?”³⁷ Действительно, зачем? Обычно мой личный ответ на этот вопрос сводится к следующему: культурное многообразие есть присущая человечеству (как и всем другим видам живой и неживой природы) необходимая характеристика существования и эволюции. Единообразие означает социальную энтропию и своего рода смерть человека как вида. Все культуры составляют общее достояние человечества, и исчезновение даже самой малой есть общая большая утрата, как утрата вымершего вида животных или растений. Но это именно *общая* утрата, что совсем не означает, что это утрата каждого конкретного носителя культуры. Мой натурфилософский и метафизический ответ мало что значит для родителя-удмурта или родителя-марийца, который хотел бы, чтобы его ребенок хорошо выучил в школе русский язык, написал без ошибок вступительное сочинение, получил высшее образование в своей стране, а если выучит английский, то, может быть, и за рубежом.

Действительно, за тезисом сохранения культур скрывается ментальная установка, что все люди должны жить так, как живут теперь, и что существующие формы жизни не должны меняться,

а только “сохраняться и развиваться”, а если они были деформированы или утрачены, то их нужно восстановить, возродить и желательнее в той самой норме, о которой написали этнографы или романтические националисты. По большому счету академический тезис и политический лозунг “возрождения национальных культур” имеет консервативный смысл, и он только внешне напоминает позитивную (но также частично утопичную) идею сохранения и защиты естественной среды. Не случайно российские этнографы и лингвисты в последние годы придумали различные “красные книги” языков и народов³⁸, отражая тем самым представления о данных материях в духе натурфилософии XIX в. За этим стоят и более современные озабоченности активистов, реализующих и утверждающих себя в деле “защиты” и “борьбы за права народов”.

Однако, если социально-культурная антропология – это в том числе и даже прежде всего *наука о культурном значении здравых смыслов*³⁹, тогда попробуем рассуждать в другом ключе, положив в основу реальные человеческие стратегии и интересы. Действительно, существует культурная традиция, отражающая преемственность или инерцию определенного образа жизни людей, обусловленная природно-ресурсными, историко-социальными, политическими и ментальными факторами. Но имеет место и не менее значимая сторона человеческой жизни, обозначаемая как инновации и как перемены, стремление к которым, по крайней мере у значительной части людей, может быть не меньшим, чем к привычному образу жизни. Никто не ратует за сохранение специфической культуры бедности ради социального разнообразия. Тогда почему однозначно должна быть неизменной культура кочевников-оленоводов или охотников за морским зверем? Ясно, что далеко не все носители этой культуры хотят этого. Очень хорошо помню беседы со своими студентами-чукчами в бытность работы преподавателем Магаданского государственного педагогического института, когда я уговаривал их после окончания вуза вернуться в свои родные места, а их желанием было остаться работать в Магадане. Уезжают из аборигенных общин и поселков молодые люди в США и Канаде, где я когда-то проводил свои исследования, и сегодня число горожан среди них намного превышает тех, кто продолжает жить и практиковать традиционный образ жизни⁴⁰.

Радетелями “возрождения” и “сохранения” почти повсеместно выступают аборигенные лидеры из городской среды, и уже это само по себе является формой определенной узурпации мнений и интересов тех, от чьего имени они якобы действуют. Как отметил А. Родин, “риторика многокультурия оказывается очень

удобным инструментом в руках тех, кто пытается закамуфлировать социальные проблемы современного мира и избежать каких-либо решений: это могут быть представители богатых элит бедных стран, успокаивающих своих нищих сограждан тем, что их бедственное положение служит делу сохранения местных традиций, и рядовые граждане богатых стран, успокаивающих с помощью такого же рода аргументов свою собственную совесть”⁴¹.

С позиций по крайней мере части членов опекаемых мультикультурализмом сообществ тезис сохранения культурного многообразия может оказаться препятствием для желательных изменений жизненных условий или для того, чтобы покинуть не устраивающие их сообщества вместе с их культурной средой. Мультикультуралисты хотят сохранить и защитить уязвимые культуры через идею и правовые условия равенства всех культур, а также наладить взаимное освоение культурных практик во имя преодоления предрассудков. Но возможно ли культурное равенство и возможна ли жизнь в полной культурной относительности?

Как лозунг и как морально-политическая установка все это может быть оправдано и лучше всего понято именно антропологами. Однако здравый смысл напоминает о том, что современный образ жизни задается во многом факторами глобального культурогенеза, а также стандартами наиболее благополучных по социально-политическим условиям сообществ. В мире уже существуют какие-то общие правила и устремления, которые ограничивают индивидуальные и коллективные стили жизни или же позволяют людям делать выбор между разными культурными местоположениями. Если человек мигрирует из малой и неблагополучной культурной среды, в которой родился и вырос, но которая его не устраивает, в другую, которая ему (или его детям) кажется более обещающей, то какие аргументы могут быть высказаны против? Я имел возможность наблюдать в гавайских общинах ситуацию, когда культура и идея гавайской общности поддерживались энтузиастами из числа евроамериканцев и немногих аборигенных активистов, в то время как простые люди жаждали уйти в доминирующую общеамериканскую культуру и делали это, если им удавалось⁴².

Если мы посмотрим на российскую действительность, то увидим сходную картину: мигрирующие в города жители сельских общин или уезжающие в западные страны жители российских городов достаточно спокойно прощаются с ценностями своей “малой культуры” и хотят стать членами большой культуры и жить более благополучно, чем в прежней жизни. Это очень давняя и более чем оправданная жизненная стратегия, которая также должна признаваться и уважаться наряду с другими.

Наконец, есть вопрос о защитном и наступательном характере различных культур. Если американская культура демонстрирует глобально наступательную стратегию и в этом преуспевает, то почему в такой же стратегии должно быть отказано носителям других, хотя бы таких мировых культурных систем, как французская или русская? Соревновательность и доминирование в культуре никто не отменял, как его невозможно отменить в социальной и других сферах человеческой жизни. Вот почему привлекательным представляется вывод А. Родина, что стратегия сохранения культурного многообразия “не просто слабая, а расслабляющая”⁴³, но этот вывод настолько расходится с устоявшимися представлениями среди социально-культурных антропологов, что я предпочитаю поставить на этом месте точку.

- ¹ Мультикультурализм в трансформирующихся обществах / Под ред. В.С. Малахова и В.А. Тишкова. М., 2002.
- ² Рыбаков С.Е. Этничность и этнос / Этнографическое обозрение. 2003. № 3. С. 13–14 (Далее: ЭО).
- ³ См.: На пути к переписи / Под ред. В.А. Тишкова. М., 2002; Этнография переписи–2002 / Под ред. Е. Филипповой, Д. Ареля, К. Гусеф. М., 2003.
- ⁴ The Harper Collins Dictionary of Sociology. L., 1991.
- ⁵ Cashmore E. Dictionary of Race and Ethnic Relations. L., 1996. P. 144.
- ⁶ На этот предмет см. одну из обстоятельных коллективных работ: Taylor Ch. et al. Multiculturalism. Examining the Politics of Recognition. Princeton, 1994.
- ⁷ Multiculturalism. A Critical Reader / Ed. D. Goldberg. Oxford, 1994. P. 10.
- ⁸ Wieviorka M. Is multiculturalism the solution? // Ethnic and Racial Studies. Vol. 21 (5). 1998. P. 884.
- ⁹ Политика многокультурности в Канаде // Сборник советских докладов для XI МКАЭН. М., 1983.
- ¹⁰ Об истории Канады см.: Тишков В.А. Страна кленового листа: Начало истории. М., 1977; Тишков В.А., Кошелев Л.В. История Канады. М., 1982.
- ¹¹ См.: Берзина М.Я. Этнический состав населения Канады. М., 1971.
- ¹² См.: Тишков В.А. К истории возникновения франко-канадского национального вопроса // Вопросы истории. 1974. № 1.
- ¹³ См. написанные мною разделы по Канаде в кн.: Коренное население Северной Америки в современном мире / Отв. ред. В.А. Тишков. М., 1992.
- ¹⁴ О них см.: Берзина М.Я. Указ. соч.
- ¹⁵ Report of the Royal Commission on Bilingualism and Biculturalism. 4 vols. Ottawa, 1969–1970.
- ¹⁶ Statement by the Prime-Minister Pierre Trudeau for the House of Commons. October 8, 1971 // Архив автора.
- ¹⁷ Докладу лорда Дарэма была посвящена моя первая научная статья, к которой я с удовлетворением отсылаю читателя: Тишков В.А. Доклад лорда Дарэма “О состоянии дел в Британской Северной Америке в 1939 г.” как исторический источник // Доклады Московского государственного педагогического института. М., 1967. Т. 284.

- ¹⁸ *Trudeua P.* Conversations With Canadians. Toronto, 1972.
- ¹⁹ Notes for an address by the Hon. Steve Paproski, Minister of State Multiculturalism to the biennial conference of the Canadian Ethnic Studies Association. Vancouver. October 13, 1979 // Архив автора.
- ²⁰ См.: *Berger T.R.* Fragile Freedoms: Human Rights and Dissent in Canada. Toronto, 1981.
- ²¹ Об этом см.: Проблемы канадской историографии / Отв. ред. В.А. Тишков. М., 1984.
- ²² *Berry J., Kalin R., Taylor D.* Multiculturalism and Ethnic Attitudes in Canada. Ottawa, 1977.
- ²³ Об австралийском опыте см.: *Kane J.* From Ethnic Exclusion to Ethnic Diversity: The Australian Path to Multiculturalism // Ethnicity and Group Rights / Ed. I. Shapiro & W. Kymlicka. New York; London, 1997. P. 54–571.
- ²⁴ *Wieviorka M.* Op. cit. P. 884.
- ²⁵ *Rocher G.* Les ambiguities d'un Canada bilingue et multiculturel // Le Quebec en Mutation. Montreal, 1973.
- ²⁶ *Kalbach W.E.* Demographic Aspects of Canadian Identity // Sounds Canadian / Ed. P. Migus. Toronto, 1975. P. 145–146.
- ²⁷ См.: *Тишков В.А.* Канада 70-х годов // Новая и новейшая история. 1980. № 1. С. 139–153; Канада на пороге 80-х годов / Под ред. Л.А. Баграмова. М., 1979.
- ²⁸ *Wieviorka M.* Op. cit. P. 886.
- ²⁹ *Glazer N.* We Are All Multiculturalists Now. Cambridge, 1997. P. 12.
- ³⁰ *Ibid.* P. 14.
- ³¹ См. обзорную работу о программе ЮНЕСКО “Управление социальными трансформациями” (MOST): *Inglis Ch.* Multiculturalism: New Policy Responses to Diversity. P., 1996.
- ³² См.: *Зорин В.Ю.* Национальная политика в России: История, проблемы, перспектива. М., 2003.
- ³³ *Родин А.* Мультикультурализм и новое просвещение // Неприкосновенный запас. 2002. № 5. С. 65.
- ³⁴ *Чижикова Л.Н.* Русско-украинское пограничье. М., 1993.
- ³⁵ *Eriksen Th.H.* Small Places, Large Issues. An Introduction to Social and Cultural Anthropology. L., 1995.
- ³⁶ *Ethnic and Racial Studies.* 2002. № 3.
- ³⁷ *Родин А.* Указ. соч. С. 65.
- ³⁸ См., например: Красная книга языков народов России: Энциклопедический словарь-справочник / Отв. ред. В.П. Нерознак. М., 1994; Красная книга народов России / Отв. ред. В.П. Нерознак. М., 1998.
- ³⁹ Именно так обозначил свою позицию один из ведущих специалистов, автор подготовленного под эгидой ЮНЕСКО труда, обобщающего современные подходы и проблемы в области социально-культурной антропологии: *Herzfeld M.* Anthropology. Theoretical Practice in Culture and Society. Oxford, 2001.
- ⁴⁰ См.: Коренное население Северной Америки в современном мире / Отв. ред. В.А. Тишков. М., 1991.
- ⁴¹ *Родин А.* Указ. соч. С. 65–66.
- ⁴² См.: *Тишков В.* Этническая ситуация на Гавайях // ЭО. 1988. № 3.
- ⁴³ *Родин А.* Указ. соч. С. 66.

Глава VII

ВОСПРИЯТИЕ ВРЕМЕНИ

Я не люблю любое время года,
когда веселых песен не поют.

Владимир Высоцкий

КУЛЬТУРНОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ

Феномен времени всеохватывающе и многолико входит в человеческую жизнь. Человек и общество могут существовать только во времени и в пространстве, и это останется аксиомой навсегда. Философская традиция рассмотрения проблемы времени – одна из наиболее давних, и она представлена самыми достойными именами¹. В социально-культурной антропологии история изучения данной проблемы не столь внушительна, и для введения в тему мы можем отослать читателя к обзорной статье Барбары Эдам, которая к тому же является автором одной из лучших современных книг на тему времени в контексте социальных теорий². Задача настоящей главы – попытаться сделать некоторые новые замечания, прежде всего применительно к отечественному опыту, а также определить возможные пути для исследования этой темы.

С одной стороны, время – не обсуждаемая данность, своего рода абсолютная сущность, но, с другой стороны, оно воспринимается в зависимости от культурного контекста, исторического периода, возраста, пола, социального положения индивида и многих других факторов. Кроме того, можно различать восприятия времени на уровне отдельного человека, семьи и рода, этнических и политических общностей и даже на уровне планетарном. Как и в далеком прошлом, время измеряется не только календарем, а сегодня – не только часами, но и веками (“веками” в историко-мифологическом смысле). И здесь также есть свое разнообразие, или вариативность.

Приведу только один пример различий восприятия временных вех у россиян последних трех-двух поколений. В школе и в университете, выучивая тему о всемирно-историческом значении Великой Октябрьской социалистической революции, я долго удивлялся тому, как моя бабушка Мария Михайловна Тягунова, родившаяся и прожившая всю жизнь в маленьком уральском городке и не знавшая грамоты, отзывалась об этом событии всего одним словом без каких-либо значимых оценок. Обращаясь к давнему личному про-

шлому, она почти не использовала годы или даты, а чаще говорила: “это было еще до переворота” или “это было после переворота”. Я же хорошо выучил урок по истории Великого Октября, но никогда свое время не мерил этой вехой. Для поколения моих родителей такой знаковой отсылкой было “до” и “после войны”. С годами ушла из жизни и эта важнейшая отсылка ко времени. Прежде всего ушла не потому, что изменилось отношение к самому событию, а потому, что выросло поколение, которое войну не пережило и не просчитывало через нее ход собственной жизни. *Время, прожитое личностью или поколением, следует считать определяющим в выстраивании исторически близкой (жизненной) матрицы времени и в выборе ее исходных точек.*

Так, для всех представителей старших поколений чеченцев до начала вооруженного конфликта в Чечне рубежным было время тотальной депортации народа в феврале 1944 г. Одна из моих информанток – молодая чеченская женщина, вспоминая свои детские годы, говорила: «О депортации говорили мало и в каком-то отвлеченном виде: это было до “ардаар” (на чеченском буквально: “вывели из дома”). Когда мама что-нибудь рассказывала, то она часто говорила: вот когда нас “ардаале”, или когда нас “уза даъхкича” (буквально: “вернули”). У меня в голове все никак не укладывалось: куда вывели и куда привели? Я очень долго всего этого не понимала». Почти наверняка столь же тотальной временной точкой стала для чеченцев последняя война, которая по воздействию и внутренним смыслам превзошла все другие временные отсчеты.

Похоже, для нынешнего населения России временной вехой будет 1991 г. – распад СССР и образование Российской Федерации, а точнее – период перестройки и реформ. Однако и здесь возможны вариации. Примерно в одно и то же время мне довелось быть на двух мероприятиях. Одно было посвящено 10-летию формирования первого российского правительства во главе с Егором Гайдаром, членом которого я состоял с февраля по октябрь 1992 г. Здесь для присутствующих исторической вехой был август 1991 г. (“героическая защита Белого дома”). Другим мероприятием была панихида по моему безвременно умершему товарищу, который был одним из публицистов-теоретиков современного русского национализма и даже авторов “Слова к народу” – своего рода идейного манифеста августовского путча 1991 г. Здесь для всех присутствующих главной прижизненной вехой стал октябрь 1993 г., также называвшийся “героической защитой Белого дома”. И в том и в другом случае *отсылка ко времени обеспечивает проверку на лояльность и солидарность определенной группы людей. Тем самым время, точнее, отношение к*

избранным в историческом времени событиям, обеспечивает для современных групп людей не только вертикальную (поколенческую) связь, но и связь политическую, эмоциональную.

Что выберет в качестве “временных вех” поколение нынешних студентов российских университетов, сказать трудно, но они скорее всего будут иными. Ибо, выражаясь словами Алексиса де Токвиля, “каждое поколение – это новый народ”. Я воочию убедился в этом, когда после четвертьвекового перерыва попал в здание МГУ на Ленинских горах, где прошли мои студенческие годы. В этот момент я наблюдал время “других” в социально-культурном смысле, а именно: одежду, пищу, поведение, нормативные ценности, учебное расписание, номенклатуру доступных услуг, развлекательный репертуар и многое другое, что было в распоряжении у современного студенчества.

Но это было и другое времявосприятие. Даже если восприятие времени нынешними студентами могло быть обременено индоктринацией со стороны не принимающей либерально-рыночных перемен профессуры, эта индоктринация все равно остается на уровне студенческого конформизма в отношениях “учитель–ученик”, однако существенно не меняет иного поведенческого стиля с точки зрения времени. Современное студенчество явно живет меньше по расписанию учебных занятий и коллективистских планов. Сегодня многие способны купить за деньги год или два дополнительного времени для обучения или закончить его раньше. Мое поколение так распорядиться временем не имело возможности.

Почему, зачем, как и кто делает (конструирует) временные вехи – вопрос не из простых и малоизученный, хотя его общественная значимость огромна. Социокультурное время рождается в итоге различных, но, как правило, целенаправленных усилий. Оно сочетает в себе собственный социальный опыт и личные стратегии, коллективные и индивидуальные внешние воздействия и передаваемый через разные каналы общественной среды “опыт истории” (этот фактор некоторые авторы называют “традицией” и отводят ему определяющую роль). В указанном сочетании, на наш взгляд, хозяин положения – не история и не мифический “ритм национальной культуры”³, а современный человек и современная среда, которые приспособливают и переосмысливают прошлое, т.е. как бы каждое поколение пишет свою собственную историю.

Особенно четко это можно заметить при смене временной матрицы, отраженной в календарях и эпохальной хронологии. Почти во всех обществах в период глубоких трансформаций (а иногда и без них) происходит обновление календарей и борьба

приверженцев новых и старых концепций исторического времени. Это своего рода политика, или игра времени. Американский антрополог Джанет Хоскинс так и назвала свою книгу – “Игра времени”, исследовав период утверждения в Индонезии в 1970–1980-е годы (время правления президента Сухарто) “нового порядка”, включавшего не только утверждение рыночно-монетаристских ценностей, но и прогрессистскую концепцию “национальной истории” в обществе при сохранении в ряде регионов страны традиционалистских ценностей. В те годы в местных общинах наблюдались сильное сопротивление нововведениям и стремление сохранить традиционные представления о времени в форме местных ритуально-календарных практик и мифологии. Дж. Хоскинс пришла к выводу, что так называемое традиционное время восточноиндонезийских общин было гораздо более сложно организовано, включая календарные конструкции. Причем эти календари с глубокой древности не являлись “примитивными классификациями”, порожденными жизнью в природе вне времени. Они были инструментами официальной практики, в том числе использовались для отправления власти и политики⁴.

Нам представляется, что важнейший момент в понимании феномена времени – не некий код-ритмика времени (циклическость или линейность), якобы заложенный в цивилизационном или этнокультурном контекстах. Не отрицая значение историко-культурного контекста, видимо, значимым является то обстоятельство, что каждое новое поколение конструирует свое время, т.е. сегодняшние потребности и интерес овладевают обществом и служат отправной точкой дальнейшего развития с опорой на свою матрицу временных ориентиров. В этом случае восприятие времени и распоряжение временем современного поколения японцев, китайцев, россиян и американцев больше схожи между собой, чем “вертикальная” схожесть времявосприятия с предыдущими поколениями в рамках одного сообщества. Я даже не говорю “в рамках одной культуры”, ибо культура современных японцев и американцев может быть ближе друг к другу, чем культура японцев в интервале двух-трех поколений. Эти две культуры безусловно разные, но еще более культурно разнятся между собой жители довоенной Японии и Японии конца XX в.

Мы расходимся с участниками распространенных в отечественном обществознании цивилизационных метадебатов о времени, которые опираются не на исследовательский материал, а на случайные метафоры из разных текстов, имеющие политически направленный смысл (см. работы А.С. Панарина, А.С. Ахиезера). Приведем пример из рассуждений о “герменевтике полити-

ческого времени” философа из МГУ И.А. Василенко. Посыл первый: «Политические культуры разных цивилизаций отличаются своей временной ритмикой: есть динамичные культуры, неудержимо устремленные в завтрашний день, но есть другие – где замедленный ритм времени рождает вечное томление “по утерянному раю”. Поэтому в диалоге цивилизаций нет единого для всех пространства-времени, и это рождает один из драматических парадоксов хронополитики: чем более медленную временную ритмику имеет цивилизация, тем выше вероятность того, что ее традиционное политическое пространство станет сокращаться под влиянием вторжения более динамичных культур»⁵. Посыл второй: «Существуют цивилизации, которые “живут историей”, они обращены назад – к событиям и традициям славного прошлого. Другие – тесно связаны с настоящим, они живут сегодняшним днем и в нем находят источник энергии. Третьи обращены в будущее, для них магическим значением надделено слово “завтра”. Принято считать, что американское и российское общество имеет преимущественно перспективную ориентацию, китайское использует настоящее как центральную точку, из которой поток существования растекается в обе стороны, а индийское живет ретроспективной ориентацией»⁶. Наконец, посыл третий: «Сегодня, когда у власти в стране поколение “западников”, пытающихся навязать России модель модернизационно-вестернизации, мы живем в ритмах всеразрушительного “ускоренного” времени. Оно не совпадает с ритмом национальной политической культуры, и возникающий диссонанс на глазах разрушает все сферы жизни общества. Монетаристская модель в экономике, созданная на Западе для борьбы с инфляцией и падением производства, в России, на иной культурной почве, неожиданно “включила” именно механизмы инфляции и сокращения производства. Эталоны массовой культуры, насаждаемые средствами массовой информации, за несколько лет разрушили традиции национальной культуры. Еще вчера мы гордились тем, что Россия одна из самых “читающих” и образованных стран мира, но уже сегодня мы этого сказать не можем. В кризисном состоянии не только экономика и народное образование, но и социальная сфера, академическая наука, здравоохранение, – словом, все общество»⁷.

Вывод из этих рассуждений о “времени цивилизации” вполне ясен: необходимы “ротация политических элит” и приход вместо “западников” тех, кто способен “замедлить стрелки политических часов и спасти общество”. Причем идеалом выступает некая “великая традиция восточных культур”, “циклическое, вращающееся по кругу время, характерное для цивилизаций Востока”

(правда, через страницу в числе примеров ускоренного западного времени приводится и “великий скачок” Мао Цзэдуна)⁸.

С точки зрения временной оценки восприятие жителями нашей страны прожитого десятилетия действительно представляет интерес. Как известно, разброс мнений по политическому, возрастному, регионально-этническому параметрам здесь огромен и даже стал предметом общенациональной дискуссии и правительственной реакции в связи с написанием школьных учебников по истории России XX в. Квалификация времени не в часах и минутах, а в оценочных категориях обрела вполне понятный политический характер, что находит отражение в огромном числе изданных работ, в том числе в книжных вариантах. В этих дебатах меня не меньше интересует и вопрос, как реально запечатлелось время российских трансформаций в жизни жителя балкарского или башкирского села, среднего российского города или столичного мегаполиса.

Безусловно, есть три образа близкого времени: у жителей села оно одно, в провинциальном городе – другое, в Москве или Санкт-Петербурге – третье. Все три разнятся не столько по причине этнокультурных особенностей, сколько по различиям в реальных практиках. Мой сосед по рязанской деревне Алтухово, этнический русский Иван Ефимович Калчугин, имеет более сходную систему координат временного поведения с балкарским жителем Баксанского ущелья, чем с моими временными установками, а я в свою очередь, имею больше общего с профессором-горожанином из Нальчика, чем со своим соплеменником по этнической принадлежности.

И все же мои наблюдения свидетельствуют о том, что в российском обществе доминирующим и общеразделяемым является медийное (из телевидения и газет) восприятие, сформированное в рамках идеологической парадигмы кризиса и утраты “старых добрых времен”. Степень распространения данного восприятия может быть разной и его содержательные отсылки могут быть наполнены местными материалами, но по сути это единый и во многом навязанный господствующей парадигмой кризиса образ в общенациональном масштабе. Тем самым можно говорить о наличии доминирующей версии ближнего (непосредственно прожитого) и дальнего (т.е. исторического) времени на уровне государственного образования и о государстве с его политико-информационным воздействием как главном производителе и хранителе этой версии.

Одна из культурных инноваций, которую я бы назвал планетарным (или единым, совместным) восприятием времени, рождается буквально в наши дни, точнее, после 11 сентября 2001 г., хо-

тя еще не совсем ясно, насколько это глубинный процесс, а насколько потрясение от невиданных террористических актов. По крайней мере, масс-медийный дискурс и многие политики заявляют, что с нападением на США началось принципиально новое время, поскольку мир вступил в некую новую фазу своей эволюции. Из многих подобных рассуждений приведу только два.

Главный редактор журнала “Искусство и кино” Даниил Дандурей опубликовал в “Независимой газете” (13 сентября 2001 г.) статью “Управляемое насилие. Позавчера кончился XX век”. Он пишет: “Мне кажется, что позавчера кончился XX век. Все принципы мышления, психология миллионов, политическое устройство – все кончилось. Мир оказался перед ситуацией, когда нужно найти принципиально другие методы сожительства, как это было в эпоху первых взрывов атомных бомб”.

В передовой статье “Именем Аллаха” в газете “Известия” (12 сентября 2001 г.) говорится: “Со вчерашнего дня в мире нет ни одной сверхдержавы. Война цивилизаций, которую с большей или меньшей долей красочности описывали футурологи и писатели-фантасты, началась. Война Аллаха с Иисусом, бедных с богатыми, варваров с цивилизацией. Ни Аллах, ни Иисус тут ни при чем – они лишь знаки, буквенные обозначения войны миров. Вчера серией невиданных террористических актов в Нью-Йорке и Вашингтоне была оформлена замена главной мировой религии. Отныне и присно (хотя не во веки веков, ибо в мире нет ничего вечного) главной мировой религией будет ислам, а не христианство. Кто бы мог подумать, что у этой замены будут конкретный день и час...”

Далее идут не просто эмоциональные, но провокационные и путанные рассуждения: “Христианство ценой огромного кровопролития сохраняло человечество от вымирания на протяжении шестнадцати веков – с момента распада Римской империи в 476 году. Со вчерашнего дня эту задачу взвалил на себя ислам. Теперь ислам, и только он, отвечает за сам факт нашего существования на этой планете в качестве биологического вида. На наших глазах свершилась планетарная исламская революция. Число мусульман давно превысило миллиард. Вчера количество перешло в качество...”

Неважно, что писавший эти строки человек в руках Коран не держал и в мечети никогда не был, зато он мог читать труды этнологов и других обществоведов и на них строить свои конструкции времени. В доказательство цитирую абзац этой же статьи: “С 11 сентября 2001 года Аллах стал верховным божеством. Расколотый духовно, геополитически и морально, исламский мир обладает той взрывной силой, той пассионарностью, как сказал

бы незабвенный Лев Гумилев, которая меняет, пересоздает миры. Натиск на Восток сменяется натиском с Востока. В нашем мире теперь неизбежно появятся другие границы – географические, политические и моральные”.

Может быть, я излишне бесстрастен, ибо моей первой реакцией при чтении газеты была не озабоченность судьбой мира и человеческой эволюцией, а сожаление, что рядом нет помощника или структуры, которые могли бы оформить судебный иск к данной газете за разжигание межрелигиозной розни. Но для большинства читателей газетных текстов и зрителей теледебатов и видеокартинок подобный текст имеет большой воздействующий смысл и вполне может оформиться в некие общественные концепции.

Важно не только сам факт разрушения двух гигантских зданий-близнецов и гибель нескольких тысяч людей, важна даже не драматическая фиксация и трансляция конкретного дня и часа, а важен смысл, которым наполняют происходящее люди, и важно то, что этот смысл передается прежде всего через временные категории. Другими словами, *значение и ценности, приписываемые времени, имеют фундаментально контекстуальный характер*. Таким образом мы отличаем культурное время (*tempus*), которое субъективно и персонально-социально, а также может иметь политический смысл, от своего рода абсолютного (или природно-космического) времени (*chronos*).

ИСХОДНЫЕ ПОЗИЦИИ НАУКИ О ВРЕМЕНИ

Добротной антропологической теории феномена времени пока нет, но имеется большое число исследований того, как в разных культурах и эпохах воспринималось, организовывалось и структурировалось время. Мировая социально-культурная антропология, включая отечественную этнологию, внесла в науку о времени существенный вклад. Если говорить о российской традиции, то здесь есть несколько направлений: а) изучение представлений о времени в древнейших культурах и в мифологии (мифологическое время); б) понимание времени через изучение календарно-обрядовой стороны культуры среди народов Европы и Азии; в) историко-философское, культурологическое осмысление категории времени.

У меня нет возможности рассмотреть детально содержание этих разработок и полученные выводы. Отмечу только, что мифологическое время – это своего рода “начальное”, “первое” время (или “правремя”), предшествующее историческому или эм-

пирическому времени. Это время первопредметов, перводействий и первотворения. Иногда это время называют сакральным в отличие от эмпирического или профанного времени. Отражается мифологическое время прежде всего в категории мифов о творении. Мифологическое время характерно для архаических мифологий, но трансформированные представления об особой начальной эпохе встречаются и в высших мифологиях. Культурологическое время или время культуры рассматривается в качестве важнейшего аспекта модели мира, как характеристика длительности существования, ритма, темпа, последовательности, координации смены состояний культуры в целом и ее элементов, а также их смысловой наполненности для человека.

Есть две проблемы, которые недостаточно учитывались учеными в прошлом. Первая связана с тем, что *время – это не только предмет этнографического анализа важного аспекта той или иной культуры, но и фактор самого анализа*, т.е. оно составляет часть жизни, понимания и даже метода тех, кто осуществляет исследование времени. Российский ученый или публицист воспринимает 11 сентября 2001 г. прежде всего через две проблемы: возможного конца краткого существования после распада СССР только одной сверхдержавы и проблемы террористических действий под лозунгами исламского экстремизма на территории собственной страны. Но он еще, как мы выяснили, начитался “незабвенного” Льва Гумилева и паранаучной схоластики по поводу цивилизационных конфликтов и истории больших структур. Китайским или индийским ученым тот же день и час воспринимается во временных параметрах по-другому: для него проблема сверхдержавы может быть и есть, но проблемы векового противостояния и временной смены христианства и мусульманства не существует. И, конечно, “китайский миллиард” не знает, что такое “пассионарность”, и пребывает в неведении, что он есть “суперэтнос” и сколько осталось ему еще жить на Земле. Все это плюс к тому, что у китайцев и у индийцев есть и культурно-отличительные характеристики восприятия времени, обусловленные этико-философской и религиозной традицией.

Вторая проблема восприятия и понимания времени – это *всесущность феномена, которая придает времени свойство невидимости и как бы создает ощущение одной из изначально данных жизненных субстанций*. От этого наше собственное время или время собственной культуры мы порой ощущаем и понимаем даже меньше, чем время изучаемых “других культур”. Отсюда возникают вопросы: что есть время для нас самих, прежде всего в сегодняшней жизни, и насколько жизнеспособна давняя эт-

нографическая парадигма различения восприятия времени в так называемых традиционных и в современных обществах?

Как известно, устойчивая (в основе европоцентристская) трактовка времени исходит из того, что в отличие от “нашего”, “западного” времени время в традиционных культурах носит циклический, а не линейный характер, оно не количественно, а качественно, имеет свойство обратимости, а также больше “вмонтировано” в саму традицию и служит неким мотором истории. “Традиционное” время организовано через рутинные и практические задачи и процедуры, а не при помощи часовых механизмов. Оно больше ориентировано на стабильность, а не на перемены. Его движение определяется природными факторами, а не календарным ритмом, и фиксируется через природно-экологическую, а не через абстрактную шкалу времени.

Наиболее полно дихотомия (различение-противопоставление) “традиционного” и “современного” времени нашла выражение в структурализме (К. Леви-Стросс), и этот подход стал почти классическим. Ему отдали дань Э. Эванс-Причард, К. Гирц и сотни исследователей в разных странах. Напомню, что Эванс-Причард в своей классической работе о нилотском племени Южного Судана – нуэрах сделал заключение, что это африканское племя обладало так называемым экологическим временем, или временем, связанным с годичным циклом, а также имело структурную компоненту, измеряемую поколениями. Но это время было мифическим, а не календарным и линейным. Эванс-Причард даже считал, что у нуэров нет времени в его обычном (для европейца) понимании, ибо даже в языке не существовало такой категории. Точно так же и у австралийских аборигенов время циклично и отсутствуют единицы исчисления времени. Приведем соответствующую цитату из русского издания этой работы:

«Хотя я и говорил о времени и о единицах времени, у нуэров нет термина, эквивалентного слову “время” в европейских языках, и поэтому они не могут, как мы, говорить о времени как о чем-то реально существующем, о том, что оно проходит, что его можно зря расходовать, что его можно экономить и т.п. Не думаю, чтобы они когда-либо испытывали ту же необходимость, скажем, выиграть время или сопоставить деятельность с абстрактным отрезком времени, поскольку они выражают время главным образом через саму деятельность, которая, как правило, носит неторопливый характер. События идут в логическом порядке, но они не контролируются какой-либо абстрактной системой, ибо не существует никаких автономных точек отсчета времени, с которыми точно совпадала бы их деятельность...

Мы можем сделать заключение, что нуэрская система исчисления времени в пределах годичного цикла и частей этого цикла – это серия концептуализаций природных изменений и что выбор точки отсчета определяется тем значением, которое имеют эти изменения для человеческой деятельности»⁹.

Данный взгляд до сих пор имеет много сторонников, в том числе и в российской этнологии. Хотя следует отметить, что у С.А. Токарева имеется наряду с корректным изложением разных научных подходов к данному вопросу достаточно важная оговорка, что нельзя говорить о полной мифологичности в восприятии времени, как и о полной рациональной, эмпирической природе времявосприятия в конкретных культурах или в определенные исторические эпохи.

Итак, мы обращаем внимание на следующее. Первое – это слишком универсалистское видение феномена времени в прошлых культурах и среди всех прошлых или ныне живущих групп населения. Функционализм и структурализм в своем стремлении установить общие механизмы жизнедеятельности разных обществ свели проблему времени к дуалистической конструкции “нашего” и “другого” времени. На самом деле не менее важно рассмотреть коэволюционные моменты (схожесть и синхронность культурных элементов) и “экзотику” современного (европейского или евразийского) времявосприятия.

ПРОБЛЕМЫ “НАШЕГО” ВРЕМЕНИ

Несмотря на существование часов и календаря, а также на сильнейшее воздействие естественнонаучных подходов к проблеме времени, наше собственное время построено и воспринимается с постоянным привлечением прошлого, настоящего и будущего и с постоянными отсылками на события, процессы и социальные отношения. *Линейность и количественность современного (календарно-часового) времени – всего лишь одна из его характеристик. Современное время остается качественным*, иначе не было бы речей о “нашем трудном времени” или о “добрых временах”, о том, что время “летит”, “тает”, “тянется”, или о том, что “время – деньги”.

Современное (наше) время сложнее, чем мы обычно его себе представляем. Оно включает не только “когда” по часам и по календарю, но и момент “своевременности”, т.е. “правильного”, или подходящего времени. Многие “когда” решаются не только глядя на день недели или на время дня, но и учитываются другие факторы. Например, когда лучше провести конгресс в столице республики (в вузовские каникулы, во время или после местных торжеств и т.д.), когда осуществить подъем цен или какую-то реформу, когда провести выборы президента страны или республики, когда предпринять те или иные общественные или частные действия. Даже “правильное” время определения начала и конца военных операций может зависеть не только от природных фак-

торов, но и от фактора крупных политических кампаний (президентские выборы) или от крупных бизнес-проектов и международных мероприятий.

“Правильное” время, или своевременность устанавливаются с учетом социоисторического и политического контекстов. Если мы не можем назначить празднования, совпадающие с печальными датами прошлого, значит, наше сегодняшнее время тоже “циклично”, или “обратимо”, как и время австралийского аборигена. Таким образом, проблема “своевременности” существует во всех обществах, и она крайне ситуативна, зависит не только от “естественных”, но и от культурных, природно-географических и даже от физиологических факторов. Например, интересен опыт определения точной даты Всероссийской переписи населения 2002 г. (с 9 по 16 октября). Здесь учитывалось наиболее оптимальное сочетание благоприятных для осуществления всеобщего и одномоментного опроса условий: конец дачного сезона и летних отпусков, еще приличное состояние дорог и доступность отдаленных мест, некоторые другие факторы.

Таким образом, *время через согласование, или время как оптимум для большего числа участников общего события – одно из новых явлений организации событий во времени.*

Недавно я обратил внимание на интересную технику выбора времени одной из научных встреч в США в рамках российско-американского сотрудничества: всем предполагаемым участникам было предложено назвать наиболее удобные для них три дня в месячный период между крупными праздниками (Днем благодарения и Рождеством). Момент наибольшего совпадения желаемых дат и был определен как время проведения конференции.

На наш взгляд, проявления феномена времени имеют как общие черты, так и некоторые уникальные характеристики в разных культурах. И граница здесь проходит не по стадийному принципу: новейшие археологические и другие исследования показывают, что даже в самых ранних обществах существовали календарные исчисления времени, которые к одной только цикличности или мифологичности не сводятся.

Главный, на мой взгляд, вывод – *ничто не может служить единственным источником культурных форм выражения или восприятия времени – ни качественный или количественный факторы, ни социальная или природная среда, ни часовой механизм или рутинные практики.* Поэтому мало смысла в самом разделении времени на две его различительные формы бытования: в традиционных культурах и в современных, индустриальных обществах.

ВРЕМЯ НАШЕЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ

Мне представляется наиболее перспективным подходом изучение того, как время используется в наших повседневных коммуникациях – в том, что я называю социальным временем этнографического настоящего. И здесь мы обнаружим, что время нашей жизни невозможно поделить на какие-то две основополагающие категории. Повседневность полна отсылок к категории времени. Мы говорим о часовом времени, о сезонном (зимнем, летнем), плохом и хорошем времени, переходном, Смутном и т.д. Есть время процессов и есть время вещей. Мы говорим, что время летит (как правило, незаметно) и что время течет (быстро или медленно). Мы легко оперируем этими разными понятиями времени и вкладываем в них, казалось бы, общеразделяемый смысл, особенно не задумываясь о различиях, обусловленных культурой, социальной средой или эпохой (т.е. тем же временем). Ясно одно – многоликий феномен присутствует как в физических процессах и социальных явлениях, так и в математических абстракциях и конкретных отношениях людей.

Мы измеряем время не только часами, повторяющимися событиями, но и через изменения в наших взглядах, чувствах и даже собственном теле. Мы используем время столь же разнообразно и чаще всего утилитарно: как средство обмена на товары и услуги и как средство платежа. Вместе с тем мы используем время и как ресурс окружающей природной среды, общества, народа, институтов. Потрясающим по своему интересу является, например, стремление удлинить время народа, той или иной культурной традиции или региона, с которым связывается культурная идентификация местного населения. Метафора “седой Кавказ” – одна из самых распространенных в северокавказском регионе. Мне, уроженцу Урала, ни разу не приходилось слышать подобные культурные отсылки в местной среде, хотя, как известно, Уральские горы гораздо более древние, чем Кавказ. Значит, дело не в корректности геологического знания, а в культурном смысле. Придание временного смысла, связанного с сединой, означает мудрость и величие, т.е. культурно и даже политически наполненные оценки, которые несут определенные функции для современников.

Минута, час, неделя, день, фаза луны, год, Рождество, Пасха и Рамадан, циклы производства и роста, поколенческий цикл и жизненный цикл – все это одни из немногих временных форм, которые определяют и регулируют нашу повседневную жизнь. Параметры жизни и смерти, природные ритмы, повторяющиеся социальные события и многое другое – все это то, что составляет

временную матрицу и позволяет нам жить во времени. Именно через эти разные формы отсылок ко “времени, когда...” мы способны узнавать о многом и организовывать жизнь. Когда открывается или закрывается магазин, когда детям следует идти спать, когда нужно сдавать в издательство готовую работу, “когда мы были молодыми”, когда в нашем городе или стране были гражданские беспорядки, когда буря снесла крышу нашего дома и т.д.

Если посмотреть внимательно, то можно обнаружить, что наше современное время основано не только на календаре и на часах или на том и на другом одновременно. Точнее сказать, последние не есть единственные источники восприятия и организации времени наших социальных действий и даже природных отклонений. Рабочее время магазина или научно-исследовательского института невозможно установить и воспринимать без часов и календаря, но они – не единственные регуляторы данной временной матрицы. Здесь есть и другие факторы: часы работы магазина, завода или института друг с другом связаны и в той или иной мере определяют друг друга. Даже интенсивность уличного движения и способности общественного транспорта могут влиять на рабочее время, а заинтересованность в коммерческой прибыли – на время торговли. Рядом с Институтом этнологии и антропологии на Ленинском проспекте уже два года работает не только самый крупный в мире магазин французской косметики “Арбат-Престиж”, но это единственный известный мне в мире магазин такого профиля, который работает 24 часа в сутки! Точно так же, как и Публичная библиотека в Оттаве, где в 1970-е годы я провел много времени, работая над историей Канады. Наконец, время торговли магазина или время работы института могут устанавливаться законом, причем разным для разных стран и регионов страны. В Норвегии невозможно купить спиртное после 20 час. (кроме пива), так как все магазины “Винмонополет” должны быть закрыты. В России своя неповторимая ситуация с продажей алкоголя, о которой все хорошо осведомлены: в любой момент в любом количестве и плохого качества.

Время работы академического института – это особая тема для научной статьи по проблеме времени. После 30 лет работы в двух академических институтах я пришел к заключению, что никакие административные предписания не в силах установить “правильное время” (т.е. по общему правилу) для научного работника. Его устанавливает то, что так дорого этнографам, – традиция, а также другие факторы. Весной 2001 г. члены Ученого совета института пережили культурный шок, когда администрация стала назначать начало работы совета на 11 час. утра.

“Ну, хотя бы на один час позднее!” – сетовали многие члены совета. Кстати, явка на заседания совета с тех пор была лучше по сравнению с прошедшим десятилетием, что подтверждает мой тезис, что человек гораздо больше склонен к трансформациям и инновациям, а сама традиция – это подвижная материя, если, конечно, между первым и вторым нет слишком радикального разрыва.

Отсылка к часам в регулировании современного восприятия времени – совсем не такой всеобщий аргумент, как это иногда нам кажется. Если вы скажете ребенку, что уже 9 час. вечера и пора спать, то это значит для него гораздо меньше, чем, если вы скажете, что за окном уже темно, или если вы выключите телевизор после передачи “Спокойной ночи, малыши”. Аналогичным образом во многих случаях ведут себя и взрослые. Врач советует достигшим 60 лет ложиться спать до полуночи, а я, наоборот, стал ложиться позже, ибо после полуночи лучше функционирует электронная почта, а в Западном полушарии, где работает много моих коллег, дневное время в самом разгаре. Время бодрствования одних по одну сторону Земли воздействует на время сна других по другую сторону. В финансово-биржевых сферах для миллионов людей во всем мире день начинается и заканчивается временем открытия и закрытия торгов на Нью-Йоркской бирже. В данном случае время определенно носит глобально-синхронный характер, но только его содержание подчиняется не мировой матрице часового времени, казалось бы, и разработанной для целей глобальной организации времени.

АНТРОПОЛОГИЯ ЧАСОВОГО ВРЕМЕНИ

Временные параметры, установленные через секунды, минуты, часы и сутки, в отличие от жизненного времени, сезонного или дневного циклов, характеризуются прежде всего инвариантностью, точностью и свободой от культурного контекста. 24-часовое измерение одинаково везде и в любое время года. Один час – он везде один час. Мы больше уже не пользуемся разными понятиями часа в зависимости от сезонов или множеством местных временных систем, которые когда-то предшествовали установлению системы всемирного времени. Время стандартизировано по всему Земному шару с конца XVIII в., когда произошло деление на часовые пояса. Остался только один курьез, когда можно потерять или обрести лишний день, пересекая международную линию дат. Эта рационализация времени имела огромное воздействие на социальную жизнь в индустриальных странах и

повлияла на восприятие времени самими антропологами, изучающими время в разных культурах и обществах.

Современные календари и часы превратили время в средство измерения, основанное на принципе одинаковости, тем самым вступив в фундаментальное противоречие с естественным временем, которое характеризуется глубокой и постоянной вариативностью. Если говорить яснее, то дневное время, например, хотя бы немного, но меняется каждые сутки, как и не каждый год имеет 365 дней. В отличие от разных природных ритмов точное измерение – это изобретение человека, т.е. это сконструированное время, которое стало настолько доминировать в нашей жизни, что мы его воспринимаем как данность. Однако, глядя на часы, мы не можем определить очень многого в ритмике современной жизни, где по-прежнему “смена вех” и отношение к времени зависят от ритмов природного и социального характера.

Изобретение часов и рационализация времени как меры произошло за счет утраты качественных различий и гармонии с данными ритмами. И все же введение часового времени не устранило полностью многообразие социальных, биологических и физических источников времени. Скорее оно изменило смысл восприятия времени. И связано это было с индустриальным обществом, когда работодателю нужно было покупать время своих рабочих, т.е. часовое время превратилось в средство, через которое труд превращался в абстрактную обменную ценность. Без точного (часового) времени было бы невозможно обменять работу на деньги в индустриальном производстве.

Точное время стало предметом конфликтов, состязательности и переговоров. Оно оказалось товаром и тем самым стало частью культуры. Рабочее время (включая время отпусков и праздничных каникул, перерывов, сверхурочное время, рабочую неделю и даже год, трудовой стаж и т.д.) – часть социально-культурной жизни, в том числе предмет контроля и сфера властных отношений.

Время в условиях российских трансформаций имеет ряд отличительных и общих моментов. Если брать сталинские времена, то главным распорядителем времени была верховная власть в Кремле, которая могла устанавливать тюремное наказание за то, что человек “не совладал” с временем и опоздал на работу на 10 мин. Причем наказание устанавливалось для людей, большинство из которых даже не имели наручных часов. В моем родном городе, где расположен один из бывших демидовских металлургических заводов, заводской гудок о конце и начале рабочей смены был самым значимым временным ориентиром. Среди местных жителей можно было услышать такие фразы: “коров сегодня

ня угнали в стадо еще до гудка”, “дождь уже после гудка перестал лить” и т.п.

В ходе постсоветской либерализации время как один из важнейших культурных капиталов было приватизировано наиболее эффективно и в массовом порядке, в том числе и в смысле выстраивания жизненных стратегий. Особенно потрясает радикальный отказ молодого поколения от регулируемого государством жизненного цикла через “трудовой стаж” и прочие временные процедуры. Не менее интересен феномен качественного определения времени и придания ему эмоциональной окраски. Недалеко от Института этнологии и антропологии на Ленинском проспекте установлены два рекламных щита. На одном (в рамках антитабачной кампании) написано: “Курение? На это нет времени”. Данная надпись явно рассчитана на восприятие времени молодым поколением. На другом щите можно прочесть: “Время платить налоги”. Здесь отсылка ко времени целиком порождена временем трансформаций, ибо такого параметра в прошлом не было: налоги не платились, а изымались.

Современный россиянин (пока только часть населения) начинает включать и эту веху в свой временной календарь. Время было и остается повсеместным в человеческой культуре, даже если наше время некоторые и называют “безвременьем”.

¹ См. обзорную статью П.П. Гайденко на эту тему: Новая философская энциклопедия. М., 2000. Т. 1. С. 451–457.

² *Adam B.* Perception of Time // *Companion Encyclopedia of Anthropology. Humanity, Culture and Social Life* / Ed. T. Ingold. L., 1994. P. 503–526; *Idem.* Time and Social Theory. Cambridge, 1990.

³ *Василенко И.А.* Диалог цивилизаций: Социокультурные проблемы политического партнерства. М., 1999. С. 229.

⁴ *Hoskins J.* The Play of Time. Kodi Perspectives on Calendars, History, and Exchange. Berkeley, 1993.

⁵ *Василенко И.А.* Указ. соч. С. 226.

⁶ Там же. С. 235.

⁷ Там же. С. 232.

⁸ Там же. С. 227–229.

⁹ *Эванс-Причард Э.* Нуэры. М., 1985. С. 95–96.

Глава VIII

КУЛЬТУРНЫЙ СМЫСЛ ПРОСТРАНСТВА

Были дали голубы,
Было вымысла в избытке.

Булат Окуджава

Нет ничего в пространстве,
чего не было бы в культуре.

Владимир Каганский

После выхода в свет специального номера журнала “Отечественные записки” (2002, № 6), посвященного проблеме “Пространство России”, заданный его авторами уровень обсуждения накладывает особые обязательства. Нет сомнения – это блестящее собрание специалистов самого разного профиля (в основном географы, философы и социологи) рассмотрело столь необъятную и сложную проблему по-настоящему научно, хотя многим отечественным философам и публицистам, включая некоторых авторов этого журнала, трудно избавиться от онтологизированной схоластики – родимого пятна российского обществознания. Не было бы этой публикации, я, скорее всего, так и не собрался бы написать данный текст. Тема представлялась необъятной и в то же самое время достаточно заброшенной. К тому же, обзорная статья ведущего западного специалиста по антропологии пространства Амоса Рапопорта в известной “Энциклопедии антропологии” под редакцией Тима Ингольда производит ужасное впечатление своей усложненностью и игнорированием междисциплинарного контекста. Дело даже не в незнании достижений ряда национальных школ, например, тартусской семиотической школы в СССР, а в игнорировании того интеллектуального багажа, без которого сегодня уже невозможно обсуждать проблемы пространства в гуманитарном ключе. Например, без работ французского историка Фернана Броделя, французских философов и социологов Пьера Бурдьё, Мишеля Фуко и Анри Лефевра, английского социолога Энтона Гидденса, английского географа Дэвида Харви, американского географа Эдварда Соуджея. В равной мере обсуждение культурно-антропологических проблем пространства России и в России невозможно без учета трудов таких современных российских авторов, как А.С. Ахиезер, В.Л. Глазычев,

Д.Н. Замятин, В.Л. Каганский, В.А. Колосов, Б.Н. Миронов, А.И. Трейвиш, А.Ф. Филиппов.

Что касается российской этнологии, то здесь сложилась особая, на мой взгляд, достаточно драматическая ситуация в проблематизации пространства. По стране продолжает расходиться кругами структуралистско-семиотическая интерпретация этнографического материала, которая охватывает так называемое *понимаемое пространство*, или пространственные аспекты символических (идейных) сторон культуры. Сами же пространственные практики или *проживаемое пространство*, где соединяются идеи и действия, фактически не изучаются и не объясняются. Структура индейского мифа или идея мирового дерева и мировой пещеры этнографу кажутся важнее, чем интерес к практикам освоения и использования пространства в разных обществах и в разных средах. Если же речь идет о современной российской жизни, то семиотика жилища в традиционной культуре под влиянием работ Н.Л. Жуковской, А.К. Байбурина стала одной из любимых тем провинциальных этнографов (особенно в республиках). Количество работ по этой теме превосходит количество усилий, направленных на объяснение того, в чем состоят культурные смыслы российского пространства и пространственных практик россиян, а также символические значения пространства, которые мы все переживаем в повседневности. Российские пространства пока не осчастливлены аналитическим взглядом представителей нашей профессии.

Так что есть о чем говорить и над чем задуматься. Тем более, что спрос на вопросы и ответы по данной теме сегодня в России как никогда высок. Издатель и главный редактор журнала “Отечественные записки” Татьяна Малкина справедливо пишет: “Любая даже самая поверхностная попытка изучения российского пространства со всем тем, что на нем растет, водится, залегаёт, живет, умирает и мыслит, немедленно обнаруживает основную проблему этого самого пространства: оно себя совсем не знает. Пространство России – малоизученный и сам собой не понятый объект”¹.

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЕКЦИИ

Поскольку в последние десятилетия в мировом общественном знании пространственными аспектами культуры и культурными аспектами пространства занимались сотни специалистов, у нас нет возможности сделать даже краткий обзор этих работ. Однако

выделим некоторые наиболее важные моменты. Итак, разные дисциплины изучают пространственную организацию. Начнем с более простых и знакомых для российских этнографов сфер и тем.

Поведенческая экология (зауженный российский вариант – это так называемая этническая экология) изучает взаимосвязь пространственной организации, территориальности, расселения, ресурсов и поведенческо-культурных норм среди людей. Предметом социальной экологии и особенно ее раздела – городской экологии – являются распределение и взаимодействие в пространстве человеческих популяций и групп населения, включая этнические общности и общины. Особенно плодотворно эти проблемы исследуются различными направлениями современной географии (экономической, социальной, исторической, политической, культурной)².

Диахронное изучение человеческих пространственных организаций осуществляется в археологии, которая имеет дело с пространственным распределением разного рода артефактов³. Археологический материал имеет пространственные смыслы и образцы и тем самым содержит информацию о социальной организации, иерархии и статусе, ритуале и религии, ментальных представлениях. Собираение и анализ такой информации подчинены пониманию человека и человеческих сообществ, в том числе пространственным аспектам человеческой культуры. В основном это происходит с позиции внешних обозревателей, но целый ряд исследований направлен на выяснение эмических аспектов пространства, т.е. тех значений, которые придавали и придают пространству представители изучаемых культур.

В социально-культурной антропологии проблема пространственных категорий в культуре занимает важное место. Французский ученый А. Леруа-Гуран одним из первых обратился к пространственным характеристикам элементов материальной культуры, как, скажем, значимость их протяженности или объемности, а также к вопросам различий восприятия пространства в разных культурах, при разных способах жизнеобеспечения⁴. Он один из первых писал о том, что для раннего охотника и собирателя мир линеен, значение имеет не поверхность земли, а маршрут перекочевки – по тропе, вдоль речной долины, по берегу водоема и т.д. Эти соображения позднее нашли плодотворное развитие. Так, О.Ю. Артемова разрабатывает понятие о *фокусном* восприятии пространства при охоте и собирательстве. У охотников и собирателей, в частности у аборигенов Австралии, практически не бывало территориальных границ, в том смысле, что здесь земля наша, там – ваша, а между ними либо забор с ко-

лучей проволокой, либо нейтральная полоса, либо оба предела вместе. Очерченные тем или иным способом пространственные пределы – это скорее признак земледельческих культур, причем имеющих более или менее сформировавшиеся властные структуры.

Вместе с тем территории проживания ранних охотников и собирателей контролировались и имелись четкие представления о связи определенных людей с определенными участками земли. Права людей на ту или иную территорию как бы фокусировались в некотором количестве “точек”, т.е. мест, отмеченных характерными природными признаками или обладающих выраженной ресурсной ценностью. В то же время жизненное пространство отдельной личности не ограничивалось доменом его родственной группы. Человек (особенно мужчина) обладал огромным комплексом личных связей, позволявших ему проникать за пределы родной территории и в течение жизни осваивать гигантские пространства. Как говорили эвенки молодому западному этнографу Дэвиду Андерсену, “старики ездили везде”⁵. Географический кругозор древнего охотника был гораздо шире, чем нам представляется.

При земледелии сформировался *концентрический*, круговой способ восприятия пространства. Земледелец воспринимал мир концентрически, его деревня – это центр, поля и выгоны – ближайший концентр, лесные угодья общины – второй концентр, дальние пространства – третий концентр. Это восприятие сохраняется по сегодняшний день в сельской местности, особенно в мало- и в средномодернизированных обществах. В 1980-е годы мы с сыном осваивали Мещеру после покупки деревенского дома в Спас-Клепиковском районе Рязанской области. Хороших карт для рядовых советских граждан тогда не существовало. Приходилось каждый раз расспрашивать, как проехать к тому или другому озеру, где можно было бы порыбачить. И каждый раз мы получали путаные объяснения. Местные жители, особенно женщины, совершенно не умели объяснить дорогу, хотя жили в нескольких километрах от какого-нибудь места. Здесь прослеживается явное отличие “географической тупости” земледельцев от пространственной осведомленности охотников и скотоводов-номадов.

А. Леруа-Гуран сделал еще одно важное наблюдение – это архетипическое стремление моделировать большое пространство в малом. Соответственно, он отметил существование разных типов городских поселений, прежде всего городов концентрического типа и городов типа шахматной доски. В обоих случаях город строится как модель мира. Это наблюдение подтверждается топонимикой современной Москвы – типично концентрического

города: гостиницы носят названия крупнейших столиц мира, на севере преобладает топонимика северной части России, на юге Москвы – Севастопольский проспект, Симферопольский бульвар, Каховская и Одесская улицы и т.д. Завоеватель с глобальными амбициями Тимур назвал пригороды своей столицы Самарканда именами мировых столиц того времени – Лондон, Толедо, Париж (последний под именем Фариш существует и сегодня). Данное наблюдение можно отнести к категории значимых, но “излишних обобщений”, ибо непродуктивно искать во всех городах “модели мира”. Однако важен сам принцип, что города и другие “центры” впитывают и отражают присущее данной культуре отношение к пространству.

В российском общественном сознании проблему культурного пространства плодотворно разрабатывали филологи, фольклористы, лингвисты, литературоведы, особенно сторонники семиотического метода (В.В. Иванов, Ю.М. Лотман, Е.М. Мелетинский, С.Ю. Неклюдов, В.Н. Топоров). Предметом изучения у них чаще всего является пространство в мифе, былинке, сказке, эпосе, авторском художественном произведении, искусстве⁶. Из современных этнографов наиболее убедительно метод тартусской семиотической школы был использован А.К. Байбуриным при изучении пространства в традиционной культуре⁷. Еще ранее историко-культурологический подход был изложен в книге А.Я. Гуревича о категориях средневековой культуры⁸. Эти работы оказали влияние на многих этнографов, которые стали заниматься так называемым *этническим пространством культуры*. В работе Н.Л. Жуковской содержится глубокий анализ пространства и времени как категорий традиционной культуры монголов⁹. Коллектив новосибирских авторов (Э.Л. Львова, И.В. Октябрьская, А.М. Сагалаева) выполнил обширное исследование по мировоззрению тюркских народов Южной Сибири, в котором отведено большое место проблеме пространства и времени¹⁰. В последние годы стали появляться работы, в которых то или иное явление рассматривается на фоне этнического пространства, или же термин *пространство* используется как эквивалент понятия *традиционный мир*¹¹. Работы Ю.Ю. Карпова о “женском пространстве” в культуре народов Кавказа – это не только идеальное пространство, но и жизненные практики, а в серии книг об этноархитектуре населения Южного Дагестана С.О. Хан-Магомедова содержится анализ достаточно жесткой пространственной практики в сочетании с идеальным миром¹².

Цель данной главы – рассмотреть проблему пространства в более широком теоретическом смысле и в междисциплинарном контексте, который задается социально-культурной антрополо-

гией, изучающей не только этничность и так называемую традиционную культуру. Как и в случае с темой о восприятии времени моя задача состоит в том, чтобы преодолеть игнорирование современности в отечественной этнологии и научиться видеть архетипическое и культурно-значимое в окружающем нас сегодняшнем мире.

ТЕОРИИ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА

Пространство представляет собой самоочевидную концепцию, и его философское осмысление имеет давнюю и фундаментальную историю¹³. Однако, как пишет А. Филиппов, “кто намерен писать о пространстве, того подстерегают теоретические ловушки. Кто попадет в такие ловушки, тот совершает также и практические ошибки. Практические ошибки – это ошибки в понимании реальности и в планировании действий, относящихся к реальности... Действие в пространстве не безразлично к теориям о действиях в пространстве, а значит, и теории о действии в пространстве имеют социальное и социологическое значение”¹⁴. Я мог бы привести достаточно длинный список таких ошибок и неадекватных реакций в силу плохого осмысления, но ограничусь всего лишь одним современным примером, а именно несостоятельностью крайне популярной среди историков, геополитиков и географов парадигмы “Россия как империя”. На мой взгляд, имперская объяснительная модель представляет собой одну из постфактических рационализаций ситуации после распада СССР и в силу своей надуманности крайне уязвима. По мнению же наиболее яркого пропагандиста имперской концепции, она основывается на “особенностях нынешнего пространства России, производных от имперских функций и доминант”¹⁵. Теоретик российского пространства Владимир Каганский настолько увлечен данным концептом, что даже не допускает мысли об его уязвимости:

“Сомнений в данности России как империи нет, независимо от того, является ли империя прошлым или настоящим страны, структурой сегодняшнего пространства или остаточнo-реликтовым и идеологическим способом обустройства жизни, реальностью или только действующим символом (недействующие символы – не символы) в дискурсе ментальностей. Проблема империи для сегодняшней России – это реальная проблема трансформации страны в ходе неизбежной (желательной или ужасающей) утраты колоний и переустройства всего пространства и всей жизни. Признание темы империи значимой неизбежно привело бы к осознанию необходимости управлять трансформацией империи, формированием постимперского пространства, в том числе и посредством деколонизации собственной тер-

ритории (а происходит – ее вторичная автоколонизация). Делать вид, что Россия не имеет значимых имперских структур, – безответственность или невменяемость, как и прожекты превращения России в национальное государство, при том, что не существует доминирующей этнической группы, как нет ведущей профессии или конфессии”¹⁶.

Не будем обсуждать последнее крайне поверхностное замечание, ибо Россия – состоявшееся национальное государство, как и все другие принятые в ООН государства мира (“ненациональные” государства нам неизвестны, а “многонациональные” – это те же многоэтничные национальные государства, из которых, собственно говоря, и состоит мир)¹⁷. В России есть доминирующая этническая группа – русские (как ханьцы в Китае или кастильцы в Испании), в ней есть доминирующая конфессия – русское православие (как англиканская церковь в Англии при миллионах проживающих там мусульман), наконец, есть и “доминирующая профессия” – это философствующие публицисты, которые узурпировали пространство гуманитарного знания. Этим последним, пожалуй, только и отличается Россия от других “национальных государств”, ибо мне неизвестны другие страны, где бы ученые-гуманитарии устроили такую саморазрушительную теоретическую кашу по поводу достаточно простой проблемы – что есть так называемое национальное государство.

Что требует действительно критической реакции, так это заполонившие общественно-политический дискурс идеальные конструкции на тему империи, которые на самом деле не так уж безобидны. Безответственные и невменяемые действия “беловежского люда” (выражение Г. Павловского) также строились на тезисе “сбрасывания колониального бремени” и именно того самого поиска Владимиром Каганским “естественного и оптимального соответствия государственной территории и страны”, “приближение к которым возможно только не путем увеличения”¹⁸. И опять неудачная историческая параллель с Германией, которая, “утратив огромные территории (автор называет “германские государства” – Австрию, Люксембург, Швейцарию и Лихтенштейн и “некогда, очевидно, германские территории” – части Польши, Чехии, Франции, России, Дании, Литвы, Бельгии и Италии. – *В.Т.*), смогла решить мучительную проблему обретения такой территории, которая отвечает устойчивости германского государства”¹⁹. Если бы автор посмотрел на карту (прото)государственных образований Европы XVII в. (такая карта-древо “первых наций” имеется в книге английского этноисторика Э. Смита “Этническое происхождение наций”²⁰), то обнаружил бы, что в “опти-

мальном уменьшении” для “устойчивости” нуждаются все нынешние “национальные государства”, а уж тем более такие, как Великобритания, Франция, Италия и Испания.

Уязвимость имперской парадигмы России состоит в том, что если завтра от Китая отпадет многоэтничный и почти мусульманский Синьзянь, а южные меньшинства также начнут борьбу за “национальные государства”, то окажется, что современный Китай – это тоже “классическая империя”, а не “национальное государство”. Точно такие же рационализации окажутся подходящими для Испании, Индии, Вьетнама, Индонезии, Малайзии, Пакистана, Турции и десятков других крупных стран, включая все африканские. И вообще, при лучшем знании внешнего мира окажется, что искомой оптимальности никогда не было, как нет ее и сегодня. Иначе Германия не затевала бы в XX в. две войны, а ныне она не станет отказываться от Калининградской области, если отечественные “оптимизаторы” будут ей предлагать помочь России обрести таким образом свою “устойчивость”. Что-то здесь не так с пространственным восприятием России. Тонкие и важные связи между понятиями “страна”, “государство”, “территория” действительно существуют, в том числе и прежде всего в сфере осмысления и осмысленного “действенного отношения”, но эти связи и их осмысления лежат в иной плоскости. Кстати, науке они хорошо известны, о чем говорят другие материалы упомянутого специального выпуска журнала и многочисленные исследования зарубежных коллег.

“Что такое Франция?” – так озаглавил одну из своих работ Ф. Бродель. Отвечая на поставленный вопрос, автор писал, что историко-культурное разнообразие было и сохраняется в этой стране (я бы добавил, что в последние десятилетия культурное разнообразие всех развитых стран увеличивается), а органическое единство Франции, часто воспеваемое как в самой стране, так и российскими завистниками, – не более чем совместный труд правителей и историков, и это не более чем общепризнанная (сконструированная и предписанная) метафора²¹. Так почему же подобное не может быть применимо к России? Не нужно ничего “строить”, “формировать”, “трансформировать”, “оптимизировать”. Следует переключить ряд ментальных винтиков, чтобы перестать отрицать Россию как состоявшееся настоящее, и через это обрести облегчение от поистине танталовых мук осознания “пространства России”. И здесь нашим философам и публицистам может пригодиться этнография как метод исследования, а также антропология больших сообществ, каким является российский народ. Однако здесь нас поджидают новые уловки и трудности.

В статье молодого исследователя Александра Бикбова я нашёл зрелые теоретические рассуждения о социальном пространстве, которые поясняют мою озабоченность трудностью изучения больших сообществ. «Чем обширнее объект, захватывающий обыденное пространство и воображение, тем сильнее соблазн мыслить его естественно – как органическое или физическое единство. И чем глубже это единство погружено в напряжённое течение политической борьбы и акробатику господства ее участников, тем тщательнее оно ограждается от лишних вопросов и размышлений. Естественность – центральная иллюзия господства. Она мягко пропитывает всю сложную ткань социального порядка, размывая социальные различия и скрывая их под общей поверхностью однородного и протяжённого монолита: нация, традиция, территория, стабильность, неделимость... Обыденный рассудок спонтанно воспринимает сложное как природное, а политическое господство усиливает его своим интересом, изначально выраженным в различиях между жреческим знанием и знанием для профанов»²². Я бы добавил, что «усилителем» восприятия внешнего или дальнего «органического целого» может быть не только политический интерес, но и степень информации об этом дальнем и внешнем мире, например, о зарубежных странах.

Пояснение этого тезиса возможно на многих примерах, особенно на примере восприятия внешнего мира, который кажется заселённым монолитными «нациями» (в Китае – китайцами, в Испании – испанцами, в Пакистане – пакистанцами и т.д.). Свое, близкое (родные Башкирия или Дагестан и даже Россия) известно лучше в смысле частных и сложностей, а вот другие обществ воспринимаются как гомогенные. Схожая операция онтологизации происходит и с пространственными представлениями. А. Бикбов поясняет это на примере политико-географической границы, которая представляется в обыденном восприятии как нечто естественное и по поводу которой географическая морфология («геополитика») выстраивает духовно-органические конструкции. На самом деле ни горы, ни реки, ни леса не содержат в себе естественной сущности границы, которую они неизбежно отдают политическому порядку. «Они воплощают лишь неоднородность пространственных протяженностей, которая в одних случаях используется (социально) как граница, а в других – вовсе нет. И если они выступают препятствием для физических перемещений, они остаются не более чем, пользуясь военным понятием, «рубежами», т.е. порогами политической экспансии и случайностью по отношению к тому политическому порядку, который, в свою очередь, является случайным по отношению к физической морфологии»²³.

Пример политического произвола по отношению к чистым пространственным формам – это государственно-административное деление, которое никогда не может отражать какой-либо “естественный закон” или четкий принцип, например, этнический состав населения или промышленно-экономическую целесообразность. Пространство Республики Башкирия было определено тем районом, который находился под контролем “красной конницы” Заки Валидова, а Карабах вошел в состав Азербайджана, потому что Нариманов послал телеграмму Ленину с угрозой перестать отправлять бензин в Москву, если будет решено подругому. Точно так же обстоит дело и с пространственным формированием таких крупных политико-географических единиц, как государства. Как точно заметил А. Бикбов, “производящий территорию принцип заключен не в физических свойствах самой территории, а в политической борьбе и вписанных в нее военных победах и поражениях. С изменением политического баланса сил изменяются географические границы или, по крайней мере, возникает повод к их пересмотру. Иными словами, пространственные границы – это социальные деления, которые принимают форму физических”²⁴.

В равной мере такой же подход наиболее оптимален в объяснении других сфер и категорий пространства. Невозможно отрицать (это хорошо исследовано в историографии и этнографии), что ландшафт и ресурсы пространства обуславливали многое в историко-культурной эволюции человеческих сообществ. Но наука не может скатываться на банальности в этом вопросе. Я уже писал о поверхностных оценках Н.А. Бердяевым внешнего мира²⁵, но этот же автор не менее банален и в оценке отечественного опыта. Сегодня я с горечью читаю многократно повторяемые и воспринимаемые в качестве откровений суждения Н.А. Бердяева о том, что русский характер сформировался под влиянием бескрайних российских просторов и “русская душа подавлена необъятными русскими полями и необъятными русскими снегами”: “Ширь русской земли и ширь русской души давили русскую энергию, открывая возможность движения в сторону экстенсивности. Эта ширь не требовала интенсивной энергии и интенсивной культуры. От русской души необъятные российские просторы требовали смирения и жертвы, но они же охраняли русского человека и давали ему чувство безопасности. Со всех сторон чувствовал себя русский человек окруженным огромными пространствами, и не страшно ему было в этих недрах России. Огромная русская земля, широкая и глубокая, всегда вывозит русского человека, спасает его. Всегда слишком возлагается он на русскую землю, на матушку Россию”²⁶.

Кстати, Н.А. Бердяев всего лишь повторял утверждения историографии XIX в., которые встречались у многих самых известных авторов. Особенно популярны были рассуждения о просторах, определивших специфику русской истории и русского народа. Как писал И.Е. Забелин, “этот великий простор, в сущности, есть великая пустыня. Вот почему рядом с чувством простора и широты русскому человеку так знакомо и чувство пустынности, которое яснее всего изображается в заунывных звуках наших родных песен”²⁷.

В этой связи мне хотелось бы процитировать российского специалиста А. Филиппова, который хотя и самоидентифицировал себя когда-то как “наблюдатель империи”, но от этого не утратил пронизательности: “Лишь подозрительно наивные авторы и теперь еще станут писать о “власти пространств над русской душой”. Более просвещенные предпочитают, быть может, рассуждения о “власти русской души над пространством”. Несмотря на видимую замысловатость, обе формулы весьма просты и совершенно ложны. Первая говорит о том, что мягкая закругленность холмов, необозримость равнин и непроходимость лесов наложили существенный отпечаток на склад характера и особенности мировосприятия типичного русского человека. Вторая указывает на историческую и культурную обусловленность элементов ландшафта: а именно русский человек с его специфическим восприятием мира прирастил все эти скругленные и бескрайние территории. Великая тайна его продвижения скрыта во взаимосвязанных символах культуры, незабываемой в своей сердцевине. Она передается из поколения в поколение невменяемыми носителями, как из рода в род передают свои инстинкты живые твари”²⁸.

И хотя А. Филиппов считает, что первая точка зрения должна соблазнять только отсталых людей, ибо она устарела лет на 100, а то и 200, в зависимости от того, что считать последним крупным достижением – Г. Бокля и Ф. Ратцеля или И. Гердера и Ш. Монтескье, в российском обществоведении продолжают пышно цвести цветы географического детерминизма, причем не только в геополитике, где над упомянутыми выше именами властвует германский империалист и националист Карл Хаусхофер²⁹. В последние годы “этноландшафтные” работы выполняются “теоретиками этноса” с самых разных ракурсов, включая ссылки на генетические коды и психоментальности³⁰. Однако зададим вместе с А. Филипповым вопрос: “И скольким поколениям типичных *нерусских* должно прожить среди холмов и равнин, дабы уподобиться типично русским? И почему так много нетипичных русских? И как это удастся ландшафту быть столь постоянным в своей культурно-творческой сердцевине, столь инвариант-

ным на таких просторах? И что происходит с народом по мере продвижения его самых типичных представителей то в степи, то в леса, то в горы?” И ответим на этот вопрос столь же заостренно: “У географического (климатического и проч.) детерминизма есть достоинство: вечная правда простой схемы, под которую можно подверстать хорошие наблюдения и плохие выдумки. Вряд ли оно искупает недостатки”³¹. Если я родился и вырос среди Уральских гор, то какой пространственный образ должен властвовать надо мной и какая конкретная ландшафтная среда должна быть для меня психо- и даже физиотерапией (если верить А.В. Сухареву и многим другим из числа этнопсихологов)? И на что в данном случае ориентироваться моей супруге, которая провела детство в деревне Воробьевка, однако в этом пространстве сейчас остался только тополь, к которому были привязаны ее детские качели, а на месте деревни сооружен Московский дворец пионеров. А самое главное, последние 8 лет мы живем рядом с тем самым тополем, но только жена ни разу не ходила к нему. При этом она всегда считала себя русской. Так как же связать ландшафт и русскость, а еще шире – географию и этнос? Ясно, что не так, как это делал Л.Н. Гумилев и его многочисленные эпигоны. А как?

И здесь, прежде чем перейти к разбору ряда сюжетов, отметим еще одну общефилософскую проблему. Это проблема восприятия и переживания пространства не только как несомненности, но и как результата выученного, концептуализированного взгляда. Сколько раз в жизни мы замечали, что разные люди видят (или не видят) разные вещи в пространстве и по-разному переживают казалось бы одну и ту же метафизическую данность? Это случается не только с простыми людьми, но и с учеными, и не только по поводу пространства. Дело в том, что представители замкнутой и инертной дисциплины “перестают различать язык науки и язык наблюдения, они буквально видят то, о чем говорят им их теории”³². К таким дисциплинам можно отнести как географию, так и этнологию. Одни наблюдают в жизни “геотопы”, “лимесы” и прочие сомнительные теоретические конструкции, другие рассуждают о жизни и смерти “этносов”, “пассионарных толчках” и прочих никем и никогда недоказанных “реальных” явлениях. Обозначенная проблема не может быть решена каким-то простым и единым способом, и А. Филиппов предлагает следующий достаточно тонкий выход из методологического тупика: “Переживание подлинности пространства – это единственное, что делает обращение к нему чем-то иным и большим, нежели исследование образов и схем пространства как частного случая в общей культурной картине мира. Но само это пережива-

ние подлинности может оказаться не подлинным, точнее говоря, противоположность подлинного и не подлинного рискует утратить смысл в той же мере, в какой не только физическая география, но и вообще любой более или менее внятный способ концептуализации местности может быть интерпретирован как социальный и культурный феномен”³³.

Все это означает, что сам принцип выделения тех или иных территорий по набору характеристик социально и культурно обусловлен. Ученый должен постоянно совершать акт рефлексии и не узурпировать пространство научного дискурса по поводу пространства.

КАТЕГОРИИ ПРОСТРАНСТВА

Напомним, нас интересует не просто физическое (объективное) пространство, а *конструируемая человеком пространственная среда* – своего рода физическое и ментальное выражение организации пространства человеком. Мы рассматриваем не просто природный ландшафт или более широко – природную среду, что делают представители естественных наук, а обращаемся к осмыслению, конструированию и использованию пространства на разных его уровнях от глобально-космического до частного и индивидуального. В субстанции пространства нас интересует уровень значений (смыслов), а также сама пространственная среда и ее изменения под воздействием человека: культурные ландшафты, поселения, здания и комнаты, организация интерьера и множество других визуальных проявлений пространственной организации. Однако в поле зрения социально-культурной антропологии находятся не только визуальные, но и воображаемые пространства. Все это составляет то, что можно назвать *культурным пространством*. Это не одно и то же, что *пространство культуры*, которое мы не сможем рассмотреть в данной главе по причине ее ограниченных рамок.

Существует много разных категорий культурного пространства. Это – собственно *геопространство*, организованное по-разному в разных культурных традициях: от абстрактного геометрического пространства в современных западных поселениях до организованного на принципе религиозной оппозиции профанного и сакрального в организации пространства во многих так называемых традиционных культурах. Можно говорить о *социальном пространстве*, в котором порядок обусловлен характером социальных отношений, групповой иерархией, формальными и неформальными связями, ролевыми факторами. Можно выде-

лить *поведенческое пространство*, которое определяется разными диспозициями индивидуального и группового характера. Есть довольно широкая категория *психологического пространства*. Хорошо известно понятие *информационного пространства*, которое в последнее время дополнилось понятием *электронного пространства*. Наконец, можно говорить о *воображаемом пространстве*, которое столь же реально для тех, кто верит в ад, рай, подземный и другие миры, или в существование Беловодья и Эльдорадо.

Любое рассмотрение данной проблемы должно включать не только “артефакты” пространственной среды – от парка до дорожного указателя, но также и самого человека с его деятельностью, потребностями, ценностями, образом жизни и другими аспектами культуры. Существует ряд изначальных вопросов при изучении данной темы. Какие особенности личности или коллектива влияют на формирование и восприятие пространственной среды? Какие аспекты среды и в какой форме оказывают воздействие на человека и группы, и при каких обстоятельствах это происходит? Наконец, какие механизмы связывают эти две фундаментальные формы взаимодействия?

Культурное пространство включает взаимодействие четырех субстанций или элементов: пространства, времени, смысла и коммуникации. Мне бы хотелось обратить внимание на организацию и использование геопространства. Но без учета времени, смысла и коммуникации рассмотреть эту сторону человеческой культуры невозможно. Как и без ключевых понятий, одно из которых – категория *пространственного места*³⁴ или *кластеров пространства* в смысле культурно конструируемого пространственного смысла и ситуации. Это не одно и то же, что комната, жилище, здание, улица или городской квартал, ибо это не просто материальные константы, а понятие пространственной организации.

Кластеры пространства могут существовать как в непосредственном материальном воплощении, так и в историко-временном режиме на периодической и даже на регулярной основе, когда в рамках общеразделяемых ценностей или группового интереса создаются пространственные места. В качестве одного из множеств материальных кластеров пространства приведу самый “дальний” из мною наблюдаемых: во время путешествия по тайге канадской Субарктики – один из самых “нетронутых” человеком природных ландшафтов – меня поразила придорожная площадка, организованная человеком для возможной остановки на пикник, где даже контейнеры для мусора были подвешены на металлических цепях, чтобы этот мусор не разбрасывали другие

владельцы данного пространства – медведи. Мы проехали мимо, но место это в пространстве тайги осталось существовать вместе со своим смыслом.

Режимные кластеры пространства возникают и исчезают по мере смены пользователей со своими разными смыслами. Как, например, улица и часть города Белфаста на протяжении столетий в определенный день года превращается в место проведения антикатолических маршей протестантов-юнионистов. Или как, например, обычный подземный переход на Октябрьской площади в Москве по четвергам вечером становится местом встречи толкинистов и их общим пространством общения по поводу воображаемого ими мира. Случайному прохожему в этом вечерне-четверговом (здесь время и пространство жестко связаны, в отличие от примера с канадской тайгой) пространстве конкретного подземного перехода не ясно, ни где он оказался, ни что происходит. Мне пришлось спросить молодых людей: “А что это за место?”, хотя я проходил по этому переходу десятки раз, но в другое время.

Кластеры пространства организуются под воздействием культурных установок и правил, в том числе и правил политико-идеологического характера. Культурные установки формируют правила, но и изменение правил ведет к изменению культурного смысла пространства. В один из моментов по “постановлению городского правительства” уличный проспект, предназначенный для передвижения людей и автотранспорта, становится местом проведения массовой демонстрации или народного гуляния. Но даже постоянные нормы разнятся своим культурным контекстом, определяемым групповыми различиями на основе хозяйственной и социальной жизни, религии и этничности. Пространственная организация города или сельского поселения может не меняться веками, однако в разных культурах она значительно разнится. Меняющиеся насельники или режимы меняют или приспособливают(ся) культурные смыслы. Одно и то же сооружение из церкви становится концертным залом или складом, а потом снова церковью.

Потрясающий контраст я наблюдал в Иерусалиме, где совсем по-разному организовано уличное пространство и его использование в еврейской и арабской частях города. Менее контрастные, но существенные различия есть между сибирским и южнороссийским городом, скажем, между Ростовом и Омском.

Кластер пространства не совпадает с индивидуальным жилищем, в стенах которого содержатся десятки пространственных смыслов и организаций. Причем архитектура жилища может отличаться, а пространственные смыслы быть схожими, что в трех-

этажном особняке, что в монгольской юрте. И наоборот – внутрипространственные культурные смыслы меняются, а архитектурные мышление и исполнение остаются в старой традиции. Так, до начала 1990-х годов почти все новые кирпичные дома в подмосковной деревне Гжель и других деревнях строились по типу бревенчатой русской избы. Только в последнее десятилетие произошел прорыв в представлениях о жилом пространстве, и начали строиться дома более разнообразные и просторные. Здесь сказались влияние коттеджного строительства приезжими строителями, более солидные средства и широкий выбор доступных материалов, а также внешние впечатления сооружающих себе жилое пространство людей. Напротив моего дома в деревне Алтухово “рязанский дачник” соорудил над купленным им полуразрушенным кирпичным домом дореволюционной постройки крайне причудливую крышу. На мой вопрос, почему такая крыша, он ответил, что ездил в Англию и там видел много домов с такими крышами, и ему они очень понравились.

А совсем недавно я спросил соседку по подъезду Л.В. Тягуненко, почему она не уехала на майские праздники на свою новую подмосковную дачу, и получил такой ответ: “Грузины какие-то строили и соорудили скворечник, по которому я и забираться не могу. Надо было нанимать русских или украинцев, чтобы построили ровнее, а не горную саклю”.

Смыслы определяют архитектуру и более широко – они воспроизводят человеческую пространственную среду. В современных просторных особняках и квартирах многие российские граждане продолжают жить главным образом на кухне, как когда-то во времена крайне ограниченного жилья. И дело тут даже не в размерах, а в ценностных установках: кухня как место трапезы и простоты кажется удобнее, чем украшенное, но холодное по своему смыслу пространство “жилых комнат”.

Пространственные смыслы гораздо более изменчивы, чем жесткая часть пространства. Жилище трудно перестроить или сменить, но наполнить его новыми смыслами гораздо легче. Примеры на этот счет могут быть бесконечными. Более того, перестройка жилого пространства под “восточный”, “европейский”, “русский” и иные стили стала уже частью профессионального бизнеса, а архитекторы-дизайнеры старательно изучают наши этнографические труды. Будучи в своей основе явлением стилизации, оно все равно имеет культурный смысл и существенно определяет жизнь человека.

Пространственная и временная организации³⁵ носят самостоятельный характер, но чаще они неразделимы и даже могут замещать друг друга. Так, например, избегание может быть достигну-

то или через жесткую организацию временного графика или через пространственное разделение. Наиболее изоциренные культурные формы использования раздельного и общего пространства частного жилья можно было наблюдать в культуре советских общежитий и коммунальных квартир³⁶. Эта традиция еще сохраняется и заслуживает своего этнографического изучения, как и в целом советская традиционная культура.

ФАКТОРЫ И СМЫСЛ ДВИЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ В ПРОСТРАНСТВЕ

Что движет людьми в геопространстве и каков культурный смысл этого движения? Разные факторы определяют и разный характер перемещения отдельного человека и человеческих коллективов. Самым ранним и самым значимым является движение за ресурсами, а также в результате природного воздействия (потепление, опустынивание, засухи и т.п.). Ранние перемещения человеческих коллективов – первобытных охотников – за зверем и другими источниками пищи достаточно хорошо описаны, хотя археология приносит все больше и больше новых материалов и более тонкие и богатые объяснения. Наиболее масштабные перемещения людей в ранние исторические эпохи были вызваны крупными климатическими изменениями. Со времени появления ранних государственных образований и организованной силы для захвата добытых ресурсов или средств их добычи (пленники и рабы) передвижение в пространстве и контроль над пространством стали гораздо более интенсивными и культурно осмысленными. Следующий качественный этап в характере пространственных перемещений глобального масштаба – это воздействие рынка и торговли, появление золота и других всеобщих мер ценности. Затем на смену им пришло время религиозных и трудовых миграций. Новейшее время связано с приватизацией человеком пространства и с признанием почти на уровне международной нормы того, что “право на территорию путешествует вместе с человеком”. Стремление к комфорту становится важнейшим движущим фактором, и человек принимает решение, чаще руководствуясь не внешними предписаниями, а частным интересом (“рыба – где глубже, а человек – где лучше”).

Однако далеко не всё в феномене пространственного перемещения обусловлено социальными факторами. Например, современная наука пришла к выводу, что в истории человечества была не одна, а много эпох “Великих географических открытий”. Отдельными людьми и человеческими коллективами в опреде-

ленном ареале и в определенные эпохи могла овладевать страсть к раздвижению своего пространства, к выходу в неизвестность. Только экономической детерминантой или другими утилитарными мотивами этот феномен не объяснишь. Удивителен пример полинезийцев. Что влекло их на почти беспочвенные острова, подверженные ураганам и всем ветрам, либо туда, где имелись вулканы? Они плавали в разведку, примерялись, прежде чем переселяться. Возвращались, чтобы взять жен детей, кур, свиней, собак, ямс, таро, кокосы, керамику. Пробовали жить на одних островах, не нравилось – переплывали на другие. Они явно хотели быть сами по себе, без других надоевших им соплеменников.

Не менее интересен культурный смысл российской колонизации Сибири. Здесь были не только “каторга и ссылка” и не только коммерческий драйв золотопромышленников и охотников за пушным зверем. Не все определялось “северными надбавками” и “всесоюзными комсомольскими стройками” и в более поздний период советского освоения сибирско-колымского пространства. Было и есть что-то иное, выраженное в ответе первого покорителя Эвереста. На вопрос, зачем он поднялся на эту гору, он сказал: “Потому что она там есть” (because it’s there). Те же русско-устыинцы предпочли вечную мерзлоту и хлеб из рыбной муки государственному общежитию. Зачем после окончания МГУ я поехал в Магадан, – не только за должностью старшего преподавателя в вузе и за более высокой зарплатой. Было что-то другое, что мне трудно объяснить спустя сорок лет после того жизненного решения. Таким образом, стремление к познанию неведомого или уход от привычного и надоевшего вполне могли быть культурными факторами геопространственных перемещений среди части людей и коллективов в самые разные эпохи истории. Я уже не говорю о религиозно мотивированных перемещениях в новые земли в целях сохранения чистоты своей веры.

Мои наблюдения постсоветской эмиграции подтверждают наличие этого глубинного культурного фактора. Хотя в основе отъезда из России в 1990-е годы лежали прежде всего соображения материального плана, будь то российские немцы или евреи и греки, тем не менее среди эмигрантов имелась категория людей, которые уезжали из открывшегося общества в стремлении “повидать мир” без определяющей установки улучшить свое социальное существование. Сегодня мировых бродяг из числа россиян можно найти в самых экзотических странах мира. Я не психолог, но подозреваю, что среди части первой волны постсоветской эмиграции было много людей, которые реализовывали отложенную мечту (посетить Иерусалим, увидеть Рим, пожить в Париже и т.д.), т.е. они делали то, что хотели, но не могли сделать в более

молодые годы. Не случайно поток эмиграции стал иссякать по мере роста обычного зарубежного туризма (а не только потому, что “все, кто хотел, уже уехали”).

Почему важно знать глубинную культурную основу пространственных перемещений? Чтобы совместить некоторые расходящиеся интересы частного человека, общества и государства. Так, например, российское государство и общество в целом заинтересовано в двух пространственных векторах внутренних миграций: в малозаселенное и стагнирующее село центральной России и в восточные и северные районы, нуждающиеся в заселении и в более интенсивном хозяйственном освоении. В советский период действовали факторы как прямого, так и косвенного принуждения, включая фактор пропаганды. После распада СССР и с либерализацией политического режима роль частного выбора возросла, но это далеко не всеми осознавалось и учитывалось. В правительстве Е. Гайдара были люди, которые планировали использовать ожидаемую “репатриацию соотечественников” для подъема сельской глубинки, а в “стратегическом центре” Г. Бурбулиса был сочинен документ под лозунгом “пришло время двигаться на Север”, в котором вполне серьезно рассматривался план масштабного заселения северных территорий по причине утраты страной ее южных районов. Оба плана оказались чистой утопией, ибо миграционное движение в России определялось двумя более мощными притягательными факторами: городскими агломерациями и климатически более благоприятными зонами проживания.

Элементы антикультурной стратегии в области миграционной политики обнаруживаются и в современных установках российских властей определять место жительства новых иммигрантов там, где это выгодно государству. В принципе это возможно через создание квот, преференций и субсидий, но только частично и только на короткий период первозаселения. Исходя из тенденций, которые изучает современная городская антропология, стремление людей жить в крупных агломерациях является доминантой миграционных геостратегий. Тем более, что в России такие агломерации еще только складываются и, кроме центрально-московской, других нет, а в Сибири и не предвидятся в ближайшие два–три десятилетия. Поскольку сочетание эффективного производства и социального комфорта возможны только в крупных людских сообществах с краткими пространственными перемещениями, будущее Сибири в этом плане крайне неясно. Что-то нужно делать, чтобы Сибирь и Дальний Восток стали более приемлемым для россиян пространством.

ОБОЗНАЧЕНИЕ И ЦЕНТРИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА

В своем культурном багаже человеческие коллективы имеют особые и разнообразные механизмы выбора и обозначения пространственного места, организации пространства через его разное использование и через установление определенных прав над частью пространства, будь это территориальные участки, пограничные линии или коммуникационные пути. В каком-то смысле человечество есть всего лишь распределенные в пространстве людские группировки, из которых в современном мире наиболее значимые и пространственно очерченные – это государственные сообщества. Хотя сами группы есть во многом воображаемые сообщества, в том числе условные множества по признаку культурной схожести или самоидентификации, как, например, русские или татары, они очень часто наделяются свойствами социального субъекта и субъекта права. Для сообществ по схожей этнической идентификации сделать это чрезвычайно трудно, хотя в российской науке и в политической практике это делается сплошь и рядом: “народы” могут депортировать, реабилитировать, создавать им “свой” государства, придумывать представителя в парламенте и т.д. Для сообществ, определяемых прежде всего пространственным принципом, субъектность устанавливается гораздо легче, ибо членство в территориальном коллективе оформляется более жестко – через гражданские паспорта, прописку, общинные реестры и т.п.

При всей условности групповых образований именно группы, а не отдельные индивиды конструируют смысл занимаемого ими географического пространства. Неслучайно путешественники-первооткрыватели новых земель и новых племен связывали название того или иного геопространства с названием проживающих в нем людских сообществ. Что от чего происходит, определить во многих случаях достаточно трудно. Но чаще людские названия (самоназвания) становились названиями стран и мест, а не наоборот. Неясность пространства и отсутствие сведений о народах обозначались словом “Тартария” не в смысле земля, где живут татары, а в смысле “Барбария”, т.е. земля варваров.

Осмысленное пространство (например, Россия) потому и существует, что есть людское сообщество, члены которого (не обязательно все до одного и в равной степени) считают себя принадлежащими к данному пространственному сообществу. Это означает, что, если нет сообщества людей, считающих себя жителями определенной страны, то нет и самой этой страны как смыслового, а не географического пространства. Если бы не было тех, кто

считает себя россиянами, то не было бы и пространственного понятия под названием Россия. Но есть и обратный процесс, когда инерция обозначения формирует идентичность. Каждое новое поколение россиян познает и признает свою “Россию” как бы заново, но эта осмыслительная и опытная процедура основывается на уже зафиксированном образе прошлых поколений и на памятниках культурной среды. То же происходит и с другими пространственно обозначенными воображаемыми сообществами. Так, людское сообщество в местах, называемых Москвой, Омском или Нью-Йорком, превращается в москвичей, омичей и нью-йоркцев потому, что прежде всего есть само пространственное место. Но это только начало процесса идентичности горожанина, его отправной “физический момент”. Чтобы его выучили и о нем не забывали, он обозначается уже на *границе пространства*, например, крупной надписью “Омск” при въезде в город или в аэропорту. Далее идут миллионы подобных отсылок: сколько раз физически фиксируется и устно упоминается слово “Омск” и производные от него слова на соответствующей территории подсчитать невозможно, но чем чаще, тем сильнее ментальная связь с данным пространственным местом. Сегодня трудно себе представить людские местоположения без таких обозначений.

Пространственные обозначения содержат много характеристик – исторических, властных, романтических, амбициозных, курьезных и прочих. Одним из самых значимых является местоположение по отношению к “центральному месту”: “рядом с Москвой”, “100 км от Омска” и т.п. Вообще центрирование пространства является культурной характеристикой. Люди и коллективы склонны видеть себя “в центре” по отношению к окружающему (именно как “круги вокруг”) пространству, особенно в случаях политий (государственных образований). Наиболее яркие метафоры узурпации статуса мировых центров – самообозначение китайской “Поднебесной империи” как центра Вселенной или трактовка России как “третьего Рима”.

Вообще центры появляются и существуют в среде человеческих сообществ как своего рода метафизические необходимости: они служат узлами связей, местами защиты и управления, они формируют каркас обитаемой территории, придают ей определенную конфигурацию. Таким образом, трудно вообразить, чтобы заселение и использование пространства шло без процесса центрирования в той или иной степени. Однако культурное осмысление и утверждение центра является необходимой чертой этого процесса. Центр–периферия – это отношения власти, и здесь необходимы усилия по утверждению статуса центра (только одни география или демография этого статуса не дают).

Соперничество за центр особенно заметно на уровне больших коллективов: стран и регионов, ибо в этом случае речь идет о крупных дивидендах. Центру отводится роль витрины и символа своих стран, здесь концентрируется элита и капитал, здесь почти всегда имеет место опережающее развитие. Обычно центрами являются столицы государств, но во многих странах ситуация иная. В Канаде такие центры – это прежде всего Торонто и Монреаль, а не Оттава, в США – Нью-Йорк, в Германии – Гамбург, Франкфурт, Мюнхен. Т.е. возможно многоцентричное существование больших пространств и разделение функций центрального места: “деловая столица”, “культурная столица” и т.п.

Часто за этим стоят неоправданные амбиции и временные узурпации (пока президент страны из нестоличного города, этот город может стать “культурной столицей” или даже вообще “второй столицей” страны). Но эта неоправданность и узурпация есть средство соперничества, без которого сама “столичность” и утверждение ее статуса невозможны: если москвичи не будут считать себя жителями столичного города и если это не будет повседневно демонстрироваться, тогда Москва будет столицей по бумажному декрету, а не по самоидентификации и по признанию. В этом соперничестве центров присутствует много культурно-психологических и символических характеристик: высокомерие и эгоизм, с одной стороны, зависть и неприязнь, с другой.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СЕТЕЙ

Что определяет выбор пространственного места для человеческих концентраций, прежде всего для постоянных поселений и для миграционных путей? Конечно, человек овладевает пространством и контролирует его прежде всего для получения доступа к ресурсам жизнеобеспечения. Так было в начале человеческой эволюции, так остается и поныне. Однако движение, выбор, а тем более сохранение за собой пространства не всегда вызываются потребностями в ресурсах и условиями окружающей среды в целом. Во-первых, первоначальная локализация группы в пространстве может сохраняться после того, как меняются условия окружающей среды, включая истощение ресурсов. Во-вторых, пространственная организация может и должна рассматриваться также с точки зрения статусности, власти, социальных связей, группового членства, а также в терминах культурных смыслов, которые выражаются в мифологии, ритуалах и символах. Неко-

торые ученые полагают, что именно последние факторы являются одними из основных для возникновения городов³⁷. Это, возможно, правильно, если учесть, что изначально символические и ритуальные места были обусловлены окружающей средой и ее ресурсами.

В этой связи мне представляется, что господствующая концепция появления сети главных российских городов на пути “из варяг в греки” может быть частично пересмотрена. Все историки и географы отмечают связь этих центров с ландшафтными рубежами и реками, с торговлей и со славянской колонизацией. Но почему исключать возможность конкретного выбора с ритуальной стороной жизни наших далеких предков? Во всяком случае большой интерес представляет точка зрения, согласно которой освоение российского пространства не обязательно шло по линии село–город. Скорее, наоборот: главная полоса расселения в России возникла как сеть городов без деревни. По В.О. Ключевскому, уже в IX в. страну Русь составляли не племенные, а *городовые области*. До XI в. русские князья не имели деревень и пашен вообще, а страна была именно “царством городов” (Гардарикой) среди крайне слабо заселенной местности³⁸.

Именно ранняя централизация (в смысле появления городских центров) сделала возможным создание системы административных ячеек – областей и краев, которые представляют собой наследников старинных земель с их городскими центрами. Как замечает Андрей Трейвиш, «в этой связи вызывают иронию официальные 50–60-летние юбилеи областей, имеющих по сути вековую историю. От исторических провинций в Европе их отличают не племенное и заданное природой дисперсное заселение, а особое полисное устройство, моноцентризм, иерархия центров (младшие “пригороды” Новгорода). И на российских банкнотах мы видим не чьи-то портреты, не архитектурные символы, как на евро, а города, часто с дальними объектами-спутниками (Красноярская ГЭС и др.). В масштабе страны это точки; к ним она и редуцирована, являя образ страны-созвездия»³⁹. Здесь явно сказывается влияние построений В. Каганского об имперской природе пространства России, а также об образе страны как промышленно-городской и столично-периферийной⁴⁰, но сами эти наблюдения очень интересны.

И все же, если Россия – это изначальная Гардарика, то почему существует столь устойчивый образ крестьянской страны до середины XX в.? Для этого есть свои причины. Во-первых, несмотря на учреждение и формирование сотен новых городов, городское население на протяжении веков отставало в росте от сельского населения и демографическое соперничество реша-

лось в пользу сел⁴¹. В XX век Россия вступила с 13% городского населения. Ситуация изменилась только в результате советской индустриализации, причем изменилась стремительно, и к 1980 г. СССР догнал Запад по доле городского населения. Однако в последние 20 лет источники роста городских ареалов (агломераций) стали истощаться. По переписи населения России в 2002 г. (по сравнению с 1989 г.) численность населения в городах и на селе сократилась примерно в равной пропорции, но доля городских жителей почти в 3 раза больше, чем сельских (73,3 и 26,7%).

Во-вторых, аграрный облик России формируют слишком большие пространства между городами: в начале XX в. среднее расстояние между городскими центрами было 60–85 км в основных районах Европейской России, 150 км – на Урале и 500 км – в Сибири. К началу XXI в. эти расстояния сократились в два раза. В то же самое время центр Европы уже около пяти столетий покрывает сеть городов, отстоящих друг от друга на 10–20 км⁴². Все это делало трудным связь крестьянина с городом и заставляло деревню быть универсальной в смысле самообеспечения, вплоть до собственных ярмарок⁴³. Такая ситуация сохранялась и на протяжении всего XX века. Мой сосед в деревне Алтухово, Иван Ефимович рассказывал о своем самом дальнем путешествии “на лошадях до самого Егорьевска одним днем в один конец” (это всего 75 км и на полпути моего маршрута Москва – Алтухово). Город Спас-Клепики был рядом (18 км), но местные жители городом его фактически не считали. Он и сегодня остается большим селом со статусом районного центра и с одной исторической достопримечательностью – техническим училищем, где учился Сергей Есенин.

Культурное пространство инертно и консервативно, и, как пишет А. Трейвиш, по сути география учит тому же, чему история: перескакивать в пространстве не менее опасно, чем во времени⁴⁴. В современную эпоху далеко не всегда ресурсы и география, и даже административная воля определяют выбор местоположения городов, особенно если последние имеют политико-символический смысл, как, например, столицы государств. Иногда это может быть желание реализовать уникальный градостроительный проект (город Бразилиа), иногда – стремление закрепить влияние одной этнической общности на территории, которая может оказаться местом, оспариваемым другими группами населения (столица Астана в Казахстане). Однако насколько удачны подобные попытки “обмануть” пространство, вопрос для серьезного размышления. В России городские центр-полносы сложились исторически и именно их сеть конструирует российское пространство, наполняя его историко-культурным, а не только эко-

номическим смыслом. Она же служит главным средством организации и контроля пространства. Побывав примерно в 30 самых крупных городах страны, позволю себе сделать вывод, что в последнее десятилетие, несмотря на грандиозный отрыв Московской агломерации, все эти города достигли очень заметных успехов в своем обустройстве. Их запоздалый старт в использовании возможностей реформ сейчас наверстывается энергией провинции в отношении главного центра. Возможно, это догоняющее скачкообразное развитие типично для стран глобальной периферии.

На первом этапе преобразований произошло своего рода сжатие самого пространства, точнее, ресурсов модернизации в одном центре, но это стало своего рода образцом для подражания. Как общество не может обойтись без элиты, так и культурное пространство не может быть динамичным без развитых центров, ибо без них немыслима развитая периферия. Здесь главное, чтобы эта новая динамика рыночной экономики и человеческих свобод не утонула в пространстве периферии, чтобы не произошел конфликт скоростей и конфликт пространств.

Некоторые специалисты уже отмечают этот опасный конфликт в феномене растущей поляризации культурного пространства России, которая проявляется в том, что в главных центрах доминирует работа со знаками и символами (политика, масс-медиа и др.), а в глубокой периферии – с вещами (производство или натуральное хозяйство). В центре жизнь зависит от курса доллара, в провинции – от погоды и урожая картошки и овощей⁴⁵. «В течение “переходного” десятилетия поляризация нарастала: центры пытались модернизироваться и монетаризироваться, а периферия нищала, забывала о деньгах, опускалась куда-то в глубь феодальных времен, во власть кормилицы-земли, кормильца-леса и их квазихозяев»⁴⁶. Это, конечно, слишком драматическая оценка (“глубинка” тоже стала ближе к деньгам, чем к феодализму прошлого⁴⁷), но суть ее от этого не меняется.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ГРАНИЦЫ И ОБРАЗЫ

Границы разделяют разные пространственные места и тем самым заключают в себе социальные, когнитивные, символические и другие значимые для человека сферы. Анализ геопространственных границ важен с точки зрения их образования и упорядочения, их функций, регулирования и защиты, проницаемости. Важно, как границы помечаются и какие с ними связаны правила, ментальные смыслы и даже фольклор. У меня нет воз-

возможности развить эту тему, но по проблеме территориальности и границ имеется достаточно богатая литература⁴⁸.

Один вопрос представляется важным и пока неисследованным. Это формирование новых пространственных границ государственных образований после распада СССР. Повторю здесь только один сделанный мною ранее вывод о том, что в ментальности многих бывших советских граждан советское пространство будет существовать еще долго, а политические границы будут уважаться только при условии их достаточно открытого режима.

Не менее интересен вопрос формирования пространственной идентичности по новым федеральным округам, которые были созданы во многом в противоречии с историко-культурной традицией. Поэтому едва ли когда-нибудь Оренбуржье и его жители будут восприниматься и идентифицировать себя как “Приволжье”, ибо на протяжении столетий это пространство осмысливалось как “южный Урал”. Равно как Калмыкия с трудом воспринимается как “Южно-российский регион” вместе с Северным Кавказом, а Волгоград и Астрахань – это безусловное нижнее Поволжье. Тем не менее усилия хорошо организованной бюрократии и денежные ресурсы дают свои плоды: на уровне административной деятельности и печатной продукции такие сообщества уже существуют, причем достаточно многочисленные и убежденные.

Не менее интересен вопрос о том, как характеризуется географическое положение того или иного места и региона. Образ и способ таких описаний во многом обусловлен взглядами характеризующего и тем самым имеет культурное значение, за которым скрывается многое, что не воспринимается обыденным взглядом. Специалист в области когнитивной географии Надежда Замятина, проанализировавшая сайты субъектов РФ в Интернете, отметила, что в этих описаниях содержатся представления о самом характеризуемом объекте (то, что считают периферией, обычно ориентируют относительно крупного центра), представления о “нормальном” порядке вещей в пространстве, на основе которых указывают на необычность положения (если *за* полярным кругом, то обязательно упоминается, если *до*, это, как бы само собой разумеется, мысленная ориентация пространства с оценкой направлений (приграничный район может оцениваться и как окраина, а как “форпост державы”)⁴⁹.

Наиболее распространено указание на положение места от Москвы, что означает “невольное подведение под московский порядок (во всех смыслах), его “периферизацию”. Трудно себе представить, чтобы то или иное место в США или Англии обозначалось как “расположен в 1500 километрах от Нью-Йорка

или в 500 километрах от Лондона”. По классической теории центральных мест для Центральной России и тем более для Подмосквья такое соотнесение вполне оправданно, но для Омска или для Алтая такое упоминание уже переходит из ряда функциональных в разряд качественных характеристик. Региональных, или “кустовых” столиц в России фактически нет, кроме, возможно, Санкт-Петербурга.

- ¹ *Малкина Татьяна*. Контурная карта // Отечественные записки. 2002. № 6(7) (Далее: ОЗ). С. 10.
- ² См., например: *Перцик Е.Н.* География городов (геоурбанистика): Курс лекций (этапы развития городов). М., 1975; Роль географического фактора в истории докапиталистических обществ (по этнографическим данным). Л., 1984; *Максаковский Я.Г.* Историческая география мира. М., 1997; Исторический источник: Человек и пространство: Тезисы докладов. РГГУ / Ред. О.М. Медушевская. М., 1997; Культурный ландшафт: Вопросы теории и методологии исследования. Материалы семинара / Ред. В.В. Валебный, Т.М. Красавская. Смоленск, 1998.
- ³ См., например: Социально-пространственные структуры в стадийной характеристике культурно-исторического процесса: Тезисы конференции / Ред. В.П. Гуляев. М., 1992; *Spatial Archaeology*. L., 1977; *The Spatial Organisation of Culture* / Ed. I. Hoddez. Pittsburgh, 1978; *Space, Time and Archaeological Landscapes*. L., 1992.
- ⁴ *Leroi-Gourhan F.* Milieu et techniques. P., 1945; *Idem*. L’homme et la matiere. P., 1943.
- ⁵ *Андерсен Д.* Тундровики: Экология и самосознание таймырских эвенков и долган. Новосибирск, 1998. С. 136.
- ⁶ См., например: *Лотман Ю.М.* Проблема художественного пространства в прозе Гоголя // Труды по русской и славянской филологии. Тарту, 1968. Т. 11; *Неклюдов С.Ю.* Время и пространство в былинке // Славянский фольклор. М., 1972; *Мелетинский Е.М.* Поэтика мифа. М., 1976; *Цивьян Т.В.* К семиотике пространственных элементов в волшебной сказке // Типологические исследования по фольклору: Сб. статей памяти В.Я. Проппа. М., 1975. Обобщающую эту сферу исследований статью см.: *Топоров В.Н.* Пространство // Мифы народов мира: Энциклопедия. М., 1988. Т. 2. С. 340–342.
- ⁷ *Байбурин А.К.* Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Л., 1983.
- ⁸ *Гуревич А.Я.* Категории средневековой культуры. М., 1972.
- ⁹ *Жуковская Н.Л.* Категории и символика традиционной культуры монголов. М., 1988.
- ¹⁰ Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири: Пространство и время. Вещный мир. Новосибирск, 1988.
- ¹¹ *Головнев А.В.* Говорящие культуры: Традиции самодийцев и угров. Екатеринбург, 1995; *Карпов Ю.Ю.* Женское пространство в культуре народов Кавказа. СПб., 2001.
- ¹² *Хан-Магомедов С.О.* Рутульская архитектура. М., 1998; *Он же*. Цахурская архитектура. М., 1999; *Он же*. Дагестанские лабиринты: Проблемы

- автохтонности и типологии. М., 2000; *Он же*. Агульская архитектура. М., 2001; *Он же*. Даг-бары и Дербентская крепость. М., 2002.
- ¹³ Философскую интерпретацию проблемы см.: *Никулин Д.В.* Пространство // Новая философская энциклопедия. М., 2001. Т. 3. С. 370–372.
- ¹⁴ *Филиппов А.* Гетеротопология родных просторов // ОЗ. 2002. № 6(7). С. 48.
- ¹⁵ *Каганский В.* Невменяемое пространство // ОЗ. 2002. № 6(7). С. 15.
- ¹⁶ Там же. С. 15.
- ¹⁷ Об этом см. главу IV.
- ¹⁸ *Каганский В.* Указ. соч. С. 18.
- ¹⁹ Там же.
- ²⁰ *Smith A.* The Ethnic Origins of Nations. Oxford, 1986.
- ²¹ См.: *Бродель Ф.* Что такое Франция? / Пер. с фр. / Под ред. В. Мильчиной. М., 1994. Кн. 1. С. 80–81.
- ²² *Бикбов А.* Социальное пространство как физическое: Иллюзии и уловки // ОЗ. 2002. № 6(7). С. 63.
- ²³ Там же. С. 64.
- ²⁴ Там же.
- ²⁵ *Тишков В.А.* Забыть о нации (Постнационалистическое понимание национализма) // Вопросы философии. 1998. № 1.
- ²⁶ *Бердяев Н.А.* О власти пространств над русской душой // *Бердяев Н.А.* Русская идея: Основные проблемы русской мысли XIX в. и начала XX века: Судьба России. М., 1997. С. 279, 281.
- ²⁷ *Забелин И.Е.* История русской жизни с древнейших времен до наших дней. 2-е изд. М., 1876.
- ²⁸ *Филиппов А.* Указ. соч. С. 49.
- ²⁹ См. русское издание: *Хаусхофер К.* О геополитике: Работы разных лет. М., 2001.
- ³⁰ См., например: Хрестоматия по географии России: Образ страны: Пространства России / Авт.-сост. и общ. ред. Д.Н. Замятин. М., 1994.
- ³¹ *Филиппов А.* Указ. соч. С. 49.
- ³² Там же. С. 50.
- ³³ Там же. С. 51.
- ³⁴ Это понятие является ключевым для многих специалистов по антропологии пространства. См. полезную, но чрезвычайно усложненную статью о пространственной организации ведущего специалиста в этой области А. Рапопорта: *Rapoport A.* Spatial organization and the built environment, in Companion Encyclopedia of Anthropology / Ed. T. Ingold. London; New York, 1998. P. 460–502.
- ³⁵ Антропологическая интерпретация времени дана мною в предыдущей главе.
- ³⁶ См. прекрасную книгу на эту тему: *Утехин И.* Очерки коммунального быта. М., 2001, а также виртуальный музей на сайте: www.kommunalka.spb.ru.
- ³⁷ *Rykwert J.* The Idea of a Town. Princeton, 1980.
- ³⁸ См.: *Ключевский В.О.* Русская история: Полный курс лекций. М., 1993. Кн. 1. Пример современных осмыслений проблемы “пространство–культура” на материалах ранней российской истории см.: Русь в XIII веке. Древности темного времени / Под ред. Н.А. Макарова и А.В. Чернецова. М., 2003 (статьи Н.А. Макарова и С.Д. Захарова).

- ³⁹ *Трейвиш А.* Город и страна: (Инерция российского пространства и динамика его главных центров) // ОЗ. 2002. № 6(7). С. 365.
- ⁴⁰ См. особенно его последнюю книгу: *Каганский В.* Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство. М., 2001.
- ⁴¹ *Вишневский А.Г.* Серп и рубль. М., 1998. С. 95.
- ⁴² *Трейвиш А.* Указ. соч. С. 365.
- ⁴³ См.: *Мионов Б.Н.* Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.). СПб., 1999. Т. 1. С. 286; Город и деревня в Европейской России: Сто лет перемен. М., 2001. С. 77.
- ⁴⁴ *Трейвиш А.* Указ. соч. С. 374.
- ⁴⁵ *Каганский В.* Культурный ландшафт... С. 251.
- ⁴⁶ Так же. С. 368–369.
- ⁴⁷ См. интересное исследование известного английского антрополога, специалиста по сибирскому региону Кэрролайн Хэмфри о повседневных экономических практиках сельского и городского населения в постсоветский период: *Humphrey C.* The Unmaking of Soviet Life. Everyday Economies after Socialism. Ithaca; London, 2002.
- ⁴⁸ В книге А.А. Казанкова содержится обзор литературы и проблематики по человеческой территориальности: *Казанков А.А.* Агрессия в архаических обществах. М., 2002. Серия “Цивилизационное измерение”. Т. 3; *Ardrey R.* The Territorial Imperative. N.Y., 1966; *Dyson-Hudson R., Smyth E.A.* Human Territoriality: An Ecological Reassessment // *American Anthropologist*. 1978. Vol. 80. P. 21–41.
- ⁴⁹ См.: *Замятина Н.* Новые образы пространства России: (По официальным сайтам субъектов РФ в Интернете) // ОЗ. 2002. № 6(7). С. 212–221. Уже после написания этой главы вышла в свет интересная работа: *Замятин Д.Н.* Гуманитарная география: Пространство и язык географических образов. СПб., 2003.